Борис Екимов   
  
Последний рубеж   
  
Казачью донскую песню при известной сноровке "играть", как у нас говорят, можно до бесконечности. Есть побаска о том, как казак едет с ярмарки на быках, возвращаясь на хутор. Чтобы не скучать в дороге, он еще на станичной околице песню завел простецкую:   
  
Гво-о-о-о-о... Гво-о-о-о-о...   
  
Ой-ды гво-о-о...   
  
Тянется за верстою верста. Час проходит, другой. Песня не кончается. Порой казак мурлычет, задремывая: "О-о-о-ой... Ой-ды... гво-о-о..." И лишь когда въедет на свое подворье, тут песне конец:   
  
Ой-ды гво-о-здик!   
  
Когда писал я свои заметки "В дороге", казалось мне, что впереди еще долгий путь, а тянуть монотонное: "Ой-ды гво-о-о..." мне надоело. Поставил точку. Но, пройдя осенними дорогами по знакомым местам, не в одночасье, не озареньем я понял, что конец пути - рядом. Но вначале - дорога.   
  
Ранним сентябрьским утром шел я из хутора Клейменовский на Вихляевку. День разгорался теплый, погожий. Одна и другая машины прогудели, обгоняя меня по асфальту. Мне спешить было не с руки. Пешочком, неторопливо шел я и шел, а потом и вовсе асфальт оставил, поднимаясь на Вихляевскую гору дорогой полевой.   
  
Нежное курлыканье слышалось впереди. Это журавли кормились на горе, на поле. Милые птицы меня не боялись, подпустили близко. Поднявшись на вершину горы, я стоял и глядел. Внизу, в утренней дреме, лежала тонущая в садах Вихляевка, на озере плавала пара ослепительно белых лебедей. Далеко-далеко уходила земля с ее полями, лугами, лесами. Вихляевский луг, Ярыженский луг, Дурновский луг, Мартыновский луг, Мартыновский лес, Озера, быстрый Бузулук, светлые воды его. А надо мной - просторное чистое небо, свежий ветер, курлыканье журавлей.   
  
На следующий день в станице Дурновской, в тамошней школе, сказал мне кто-то из учителей: "Спасибо, что приходите в наш Богом забытый край..." - "Не забытый, а обласканный, - возразил я. - Богом ли, природой, но обласканный..." А в дне вчерашнем в Мартыновской станице, тоже в школе, говорил я ребятам, ничуть не кривя душой: "Вы - счастливые, потому что родились и живете в одном из самых красивых мест на земле. Поверьте, что это именно так. Бывал я в дальних краях. И в Европе, и в Азии, и в Африке, и в Америке. В памяти моей многое. Но одна из самых светлых страниц - эти края: округа Мартыновская, Вихляевская, их земли и воды".   
  
Так говорил я, а теперь добавлю, что эти края забыты не Богом, не природой, а властями высокими.   
  
Каждый год я бываю здесь. Стою на горе Вихляевской. Спускаюсь в хутор, брожу по его улочкам. И помню еще хутор живой: Дом культуры с кинозалом, библиотеку, школу, почту, фельдшерский пункт, три магазина. А ныне все гуще вскипает зелень садов, полоня хутор. Спелые груши висят и падают, устилая землю. А людей нет. Одного-другого старика встретишь, поговоришь - и все. Закрылись магазины, заброшена школа, разбит Дом культуры. И даже асфальтовая дорога не помогла. На всю Вихляевку три работника осталось. Зеленая пустыня.   
  
Старый учитель Павел Михайлович Соснин который уже год мне жалуется:   
  
- Баню не хотят открывать. Сколько лет бьюсь, пишу, говорю... Должны же мы хоть под конец жизни в бане помыться...   
  
Милый Павел Михайлович, не будет бани. В райцентре баню никак не наладят, а у вас теперь уж точно не будет.   
  
В станице Мартыновской тамошняя школа в прошлом году отметила свое девяностолетие. Многих и многих она учила и выучила. И теперь идут дети по утрам в то самое деревянное здание, которое было построено девяносто лет назад.   
  
- Место для новой школы уже выбрали, - говорили мне учителя. - Проект был, колышки забили. А теперь...   
  
Не будет новой школы в Мартыновской. Столетие будут отмечать в том же здании, коли не рухнет оно.

О каких новых бане ли, школе мечтать, когда гуляет над этим зеленым миром смерч разорения.   
  
В хуторе Клейменовском разломаны клуб и бывшая школа; и медпункт, еще вчера живой, уже пустыми глазницами зияет, развалена печка - конец медпункту.   
  
В этом хуторе я ночевал, вел горькие разговоры.   
  
- Людям деньги за работу не платят. Они вовсе не хотят работать. Раньше мы как-то воздействовали, - говорит бригадир Виталий Иванович. - А ныне... Иди, говорят, да сам делай. Вот и все.   
  
- Все дорого. А денег нет, - объяснил мне кто-то. - Ничего у людей нет: ни шифера, ни стекла. Вот и норовят украсть.   
  
- Сено нынче не заготовили. Коров будем соломой кормить.   
  
Зарплату не дают. А дитя надо в школу собирать. Продали платок, купили ботинки. Продали еще два платка, куртку купили.   
  
И длинный монолог старого моего знакомого Ивана Бочкова:   
  
- К чему идем? К чему нас ведут? Получаю зарплату пятьдесят тысяч и тех не вижу. А уголь для топки одна тонна стоит сто пятьдесят тысяч. Мне нужно три тонны. Где брать? Опять, как в старые годы, пеньки в лесу вырубать? Было такое.   
  
И как не поймут, что хоть тяжело, но без угля мы проживем. А вот без хлеба как? В тридцатые годы и после войны, когда не было хлеба, враз стали пухнуть и помирать. А теперь говорят: хлеб ничего не стоит, самое дорогое - это горючее и газ. Неправда.   
  
"Не пойму... Не знаю... К чему нас ведут?" - вот главные вопросы не только Ивана Бочкова, но всех, с кем встречался я.   
  
После Клейменовского да Вихляевского ушел я через луга и займищный лес к Дурновской станице, оттуда выбрался к Павловской. А жизнь, разговоры, вопросы - одни и те же. Названия у колхозов хорошие - "Возрождение" да "Восход", но дела везде быстро спешат к закату.   
  
Возле Павловской станицы помню я поля: здесь был эспарцет, здесь подсолнечник, здесь - пшеница. Сейчас - пусто. Нечем пахать, нечем сеять. Нет лемехов, нет горючего, нет масла. Не на что купить. В прошлые годы мы говорили об упадке животноводства, об уничтожении свиноводства как отрасли. В хуторе Ольховском были свинофермы, в Павловской - все это день вчерашний, а в нынешнем и зерноводство дышит на ладан. Нечем работать, да и некому. Зарплату в "Восходе" не получают с сентября 1993 года. Целый год! И о чем говорить, о каких таких стимулах к труду. Зарплаты нет. Цена буханки хлеба в два раза выше, чем в городе. Магазин практически закрылся. Да и торговать нечем. И покупатели с худым карманом.   
  
Опять про ту же топку, про уголь. Пятьсот тысяч рублей - за три тонны. Где, у кого такие деньги? С одним я поговорил, с другим. Уголь не смогут взять, будут обходиться дровишками.   
  
Но чем все-таки жить, когда нет колхозной зарплаты? Обычно отвечают: усадьбой, подворьем, всем, что есть там. Держать скотины побольше, мясо продавать.   
  
Но чтобы купить те же три тонны угля, нужно продать двух хороших бычков, прокормив каждого из них по два года. 700 рублей платят сейчас скупщики за 1 кг живого веса. 400 кг по 700 рублей - получается 280 тысяч. Удвоим - и получается лишь на уголь для одной зимы. А на все остальное?.. Да еще попробуй продай это мясо. Не сразу получится. По 1200 рублей за килограмм убоины предлагали раньше перекупщики. А теперь и этого не дают.   
  
Что же делать? Как жить?!   
  
Еще одно хозяйство, бывший совхоз, ныне производственный сельскохозяйственный кооператив "Голубинский". Вновь к нему возвращаюсь, потому что это малая частица, модель всего нашего села. Путь его, к возрождению или к гибели, должны пройти все, одни раньше, другие позже, потому что одна у нас страна, а значит, порядки, законы и беззакония одни. И производственные отношения одинаковы: земля, а на ней - люди.   
  
В позапрошлом, 1993-м году, тоже осенью, подводил "Голубинский" итоги, повторю их: "Долгов к 1 января 1994 будет 250 миллионов рублей... Долги будут расти...

К уборке 1994 года долги увеличатся до одного миллиарда рублей... Впереди просвета не видно".   
  
Прошел год. Убрали новый урожай, получив по 4 центнера с гектара. Всего около трех тысяч тонн. (Прежде бывали годы, когда лишь государству сдавали до двадцати тысяч тонн.) Одних кредитов - более 800 миллионов рублей. Если посчитать все иные долги и проценты по кредитам, то к 1 января 1995 года отдавать надо около 2,5 миллиардов рублей. А что впереди? Никакого просвета. Заготовили только пятую часть сена, потребного для скота, силоса нет, соломы и той не будет.   
  
Нынче - конец сентября. Зарплату людям отдали лишь за апрель. Теперь отдают за май, но не деньгами, которых нет, а овцами. За июнь - июль тоже будут платить скотом, крупным рогатым. Правда, не все на это согласны, ждут денег.   
  
"Идем ко дну и всплывать уже не будем", - заявил корреспонденту районной газеты Ю. Ю. Барабанов, председатель "Голубинского". А заканчивалась эта заметка явным намеком: "По всему видать, в ближайшее время предстоят "Голубинскому" большие перемены. Откладывать их уже нельзя".   
  
Но перед моим приездом прошло правление хозяйства, на котором решили: жить и работать по-прежнему вместе. Как работать?   
  
- Поехал я на днях на вспашку зяби, - говорит Ю. Ю. Барабанов, - а механизаторы - пьяные в стельку. Коллектив большой, пятьсот человек, за всеми не уследишь, да и нет с этими пьяницами никакого сладу...   
  
Планы на будущее у руководителя хозяйства простые: поголовье скота резко снизить, чтобы хоть впроголодь, но продержать оставшуюся скотину до весны. И по-прежнему брать кредиты: на зарплату, на покупку горючего, запчастей словом, на жизнь. Снежный ком долгов растет и растет.   
  
В прошлом году, в такую вот пору, надеялись на будущую уборку. Помню, как без запинки читал свою бумажку главный агроном: "Должны повысить... расширить... ожидаемый доход - один миллиард сто миллионов рублей..." Два миллиарда получили. Убытков. А нынче и вовсе надеяться не на что: лето и осень - без единой капли дождя, озимые не взошли, скотина зимовать будет без кормов. Кто виноват? Худые работники, "пьяницы" и "воры", которые тянут все подряд? Корма, скотину, запчасти, а то и целые трактора; разбирают постройки до самого фундамента: брошенные кошары, помещения полевых станов.   
  
А как жить, если полгода, а то и год не получаешь зарплаты?   
  
Нынешним летом услышал я от колхозного механизатора точные слова:   
  
- У меня две коровы, три головы гуляка, десять свиней. Я обязан их обеспечить, чтобы с голоду не помереть. Это моя зарплата, доплата за "классность", за стаж, доплата по результатам года и мои дивиденды на паи словом, жизнь. Другой платы я не дождусь...  
  
Теперь уже в давние годы, в тогда еще социалистической Венгрии, мне в тамошнем Министерстве сельского хозяйства внушали: "Управлять производством надо не криком, не угрозами, а форинтом (по-нашему рублем). Мало в стране молока - накинь на закупочную цену форинт, оно потечет живее. Много молока сбрось форинт".   
  
В нашей стране в прежние времена такая мудрость не приживалась. А теперь?   
  
Еще в прошлом году, осенью, председатель "Голубинского" Ю. Ю. Барабанов говорил: "Не надо мне ваших кредитов. Они нас задушат. Отдайте деньги за шерсть, за мясо, за хлеб, и мы вывернемся". Не отдали. Тянули целый год, пока рубль не превратился в копейку. И даже теперь нищему, утонувшему в долгах "Голубинскому" снова не отдают денег за сданное мясо. И потому платить зарплату нечем. А значит, надейся мужик на "ловкость" свою, когда не день, а ночь кормит.   
  
Еще один колхоз. У него лишь 3 тысячи гектаров пашни, на которых трудятся 43 механизатора. Из 1000 га зерновых половину они не убрали. А вспахать сумели лишь 1500 га. А рядом 4 работника звена С. И. Гавры из "Верхнебузиновского" тоже обрабатывают 3000 га земли и получают по 30 центнеров зерна с гектара.

В том колхозе, где 43 механизатора, шло собрание, четвертое за полгода. Разбирались:  
  
- Механизаторы в разгар уборки пьянствуют...   
  
- Послали луг косить, а они исчезли на несколько дней.   
  
- Воруют все...   
  
После собрания, которое в очередной раз постановило: "Будем работать вместе", прозвучали слова: "Колхоз у нас плохой, а мы живем хорошо. Скотины хватает, сена полно, с дровами не бедствуем..."   
  
Это горькая, но правда. Не хуже других живут. Не хуже Станислава Ивановича Гавры из Верхней Бузиновки. И не хуже работников из "Волго-Дона".   
  
О "Волго-Доне" я уже писал. Прикидывал прошлой осенью, что 1993 год хозяйство закончит с прибылью в три четверти миллиарда. Но этих денег ему не отдадут. И потому придется влезать в долги. Так оно и случилось.   
  
Прежде "Волго-Дон" заслуженно величали всесоюзным лидером, маяком. И ныне поголовье мясного и молочного скота не снижено. Средний удой - четыре с лишним тысячи литров на корову, среднесуточный привес мясного скота 600 граммов, урожайность овощей - 400 - 500 центнеров с гектара. Из месяца в месяц "Волго-Дон" дает по 800 тонн молока, 100 тонн мяса, полностью обеспечивая себя кормами. 10 тысяч тонн томатов, 20 тысяч тонн капусты, лук, кабачки, морковь, огурцы.   
  
По интенсивности производства, по производительности "Волго-Дон" остался лидером области и страны. Но все нынешние беды села его не минули.   
  
Летом "Волго-Дон" был должен 1,5 миллиарда рублей. Хотя ему должны были больше: 790 миллионов - покупатели, 550 миллионов - государство, 570 миллионов - переработчики. Арифметика говорит: все в порядке. Но какой прок от денег, которых не отдают годами? И не отдадут.   
  
Но жизнь продолжается. А жизнь - это люди: 2300 работников хозяйства, 700 пенсионеров, их семьи. Всю огромную социальную сферу "Волго-Дон" содержит сам. Жилье, школы, детские учреждения, отопление, газификация, связь, дом быта с парикмахерской, швейной мастерской, ремонтом техники - все содержит хозяйство. Открыли новую баню с сауной. Только на ремонт школы истратили 300 миллионов рублей. Из государственного бюджета "Волго-Дон" ничего не получает, потому что он - сильный, сам справится.   
  
Вот и выходит, что в нынешнее время экономически и чисто житейски быть "Волго-Доном" невыгодно.   
  
Вот она, горькая для страны правда. Если поставить селянина из "Волго-Дона", чьими трудами получен урожай пшеницы в 40 центнеров с гектара, удой на корову почти 5000 литров, а рядом с ним - его собрата, который урожай отправил под снег, из 140 телят погубил 120, то по внешнему виду никто этих людей не различит: одеты одинаково, и золотых перстней не видно. И домашний достаток у них одинаков: подворье, жилье, мебель. Машинешка одна и та же побитые "Жигули". И может быть, у хорошего труженика зарплата будет меньше.   
  
Если "Волго-Дон" из своих доходов примерно треть тратит на социальные нужды, то бедолажные хозяйства ничего не тратят. Детские сады они давно закрыли и даже окна-двери повыдергивали. Про баню забыли. О школе да медпункте "нехай государство горится". Оно и "горится", направляя бюджетные средства "бедолагам", а "Волго-Дону" не достанется ничего.   
  
"Волго-Дон" ежедневно поставляет продукцию, а значит, платит немалый НДС и налог на прибыль с тех самых сотен миллионов рублей, которые ему неизвестно когда отдадут. И отчисления в пенсионный фонд. Деньги для этого приходится брать в кредит под знаменитые банковские проценты. А значит, платить за все вдвое и втрое дороже.   
  
Хозяйства же "бедные" почти ничего не производят, а значит, с них и взятки гладки. Они порою зарплату своим людям не платят по полгода и более. И никто от голода не умер, принцип тот же: "Колхоз у нас плохой, а мы живем хорошо". Но, кроме разорительности для страны, для земли, такие хозяйства - еще и дурной, разлагающий пример соседям.

Зачем нужны свиноводство, молочное животноводство и мясное, какие-то пары, севообороты, племенное дело - словом, труд и труд? Ведь можно по-другому: "Надеемся, что что-то украдем".   
  
Надеемся... Но на одном из колхозных собраний все же прозвучало горькое:   
  
- А когда воровать уже нечего будет? Как тогда жить?   
  
Как жить?.. "Голубинскому" ли, который потерял всякую надежду, 800 миллионов долгов, миллиард ли... Все равно нет зарплаты, и нет урожая, и дохнет скотина - словом, все наперекосяк. Как жить "Волго-Дону", который уже в сентябре имел 2 или 3 миллиарда долгов? Хотя по бумажным расчетам он вроде бы процветает.   
  
Как жить тем сотням и тысячам хозяйств, которые в "голубинскую" нищету еще не влезли и до "волго-донских" богатств им далеко? Как дальше жить миллионам и миллионам селян-колхозников?   
  
"В 1993 году хозяйствами всех форм собственности было получено только централизованных кредитных ресурсов на сумму 62,7 млрд. руб. Из этого кредита они могут вернуть не более 8,5 млрд. руб." - цитирую документ областного комитета по сельскому хозяйству - "Состояние сельскохозяйственного производства в области".   
  
Значит, вернули чуть более десятой части. И это в 1993 году, когда погодные условия позволили получить урожай поистине небывалый.   
  
"Потребность же области, - продолжу цитату, - в централизованных капитальных вложениях на 1994 год... составляет 126 млрд. руб. ..." А сколько из них вернут?   
  
Этот документ читал я внимательно, понимая его как программу выхода сельского хозяйства области из нынешнего кризиса, но ничего нового для себя не вычитал, кроме обычного: "Обратиться к президенту РФ... с требованием о необходимости корректировки и изменения курса реформ... изыскать... выделить льготный кредит... установить ставку в размере 25% годовых..."   
  
А вот что делать тем хозяйствам области, которые уже не в состоянии ни вспахать, ни посеять, из программного документа не видно. Что делать "Волго-Дону"?   
  
Строки из письма: "Ассоциация крестьянских хозяйств (бывший колхоз им. ...) просит оказать помощь в реорганизации хозяйства по нижегородскому методу... большинство работников пока не осознали себя настоящими собственниками... в итоге: невысокая производительность труда, низкая рентабельность... правление ассоциации не видит другого пути, кроме глубокого реформирования. Специалисты хозяйства самостоятельно не могут провести эту работу... просим помощи..."   
  
Не называю адресанта. Таких хозяйств нынче немало. И дело не в нижегородском методе. Про опыт нижегородцев авторы письма слышали в "Вестях" по телевидению. Письмо это просто крик отчаяния: "Помогите! Гибнем!" И еще одно немаловажное: "Самостоятельно - не можем... просим помощи".   
  
Какую же помощь им предлагают?   
  
На уровне района: "На базе АО "Советское" провели семинар руководителей хозяйств района и главных зоотехников".   
  
- О чем речь? - спросил я.   
  
- Привесы плохие. По сто граммов в сутки. Это в летнюю пору. Надо поднимать.   
  
- После семинара привесы поднимутся?   
  
- Да, может, совесть проснется.   
  
На уровне области: "Совещание по вопросам животноводства в Елани".   
  
На уровне России: Вице-премьер Заверюха "совершил облет полей области. Посетил одно из лучших хозяйств".   
  
Такие "семинары", "облеты", и даже "лично за штурвалом комбайна", - до боли знакомые картины прошлого. Все учим и учим. "Ученого учить - только портить", "Его учить - вдвое кнут ссучить" - разные пословицы, но верные.   
  
Недавно прочитал я воспоминания старого человека о том, как на хуторе Ильевка в годы коллективизации пытались сделать доброго хозяина. Бедняцкой семье, состоящей из семи душ, людей уже взрослых и живущих в землянке, выделили "кулацкий" просторный дом и корову. Но доброе житье продолжалось недолго, лишь до осени. Не смогли хозяева сена заготовить и дров запасти. Горевать не думали. У Шаханова в день моего приезда кобель сбежал. "Не выдержал фермерской жизни", - смеется Шаханов. А если всерьез, то проблемы, заботы все те же, что и в первый год: вода, электричество, техника, деньги. Впору бросить все.   
  
Если у Шаханова земли лишь два гектара и навыков крестьянских негусто, то Ляпин - прирожденный механизатор, бывший бригадир полеводства, а Чичеров бывший совхозный экономист. Работать и считать они умеют. Земля есть. Желания - не занимать. Потому и писал я раньше: мол, скоро вот здесь, на своей земле, у Ванюковой балки поднимутся дома... Три года прошло. Как жили в вагончиках, при керосиновой лампе, так и живут. Электролиния - в далеком проекте. Собирались заняться семеноводством. Тоже деньги нужны. Своих не хватает. А брать кредит под такие высокие проценты не рискуют. Тем более государство расплачивается неаккуратно. И в прошлые годы, и сейчас. Нынче продали 160 тонн пшеницы, получили за нее лишь треть положенного. Остальное неизвестно когда.   
  
В. И. Штепо - бывший директор "Волго-Дона", дважды Герой Труда, нынче хозяин самостоятельный. Не побоюсь сказать: лучший хозяин в районе. Не я, а главный агроном сельхозуправления, отвечая мне, говорит: "Пары у него лучшие в районе... Всходы лучшие в районе..."   
  
Нынешним летом, 1994 года, В. И. Штепо с сыном и зятем получили 860 тонн пшеницы, 100 тонн ячменя. Как посчитал Виктор Иванович, продав эту пшеницу, можно купить один комбайн "Дон". При условии, что они не будут брать денег на зарплату, на горючее, на все остальные расходы. Словом, живи святым духом, им же кутайся. Тогда на доход от 500 га купишь один комбайн. Можно ли так работать на земле? При такой вот немыслимой экономике? Но В. И. Штепо пока отступать не собирается, не тот человек. И остановиться он не может: ведь трактора и машины не должны зимовать под снегом. Пришлось взять кредит для строительства крытой стоянки, мастерских. Но хватит ли этого кредита? Вряд ли... А проценты? И это у самого Виктора Ивановича Штепо. А что до остальных, скажу: если еще в прошлом, 1993 году, весною, в земельном комитете Калачевского района на мой вопрос: "Кто из фермеров просит еще земли?" ответили: "Все", то нынче сказали: "Никто. Наоборот. Сдают землю".   
  
Значит, нахозяйствовались. На собственной шкуре поняли, что все обещания правительства - пустые слова. А на деле - стремление задавить: налогом, прямым обманом в расчете за хлеб, когда задержка платежа на полгода и более сводит на нет все заработанное. Инфляция... Это слово теперь колхозник ли, фермер ли ощутил на собственном опыте.   
  
И еще одно, одинаково страшное для колхозов и для фермеров, - день завтрашний: что завтра в Москве придумают, куда повернут?..   
  
"Колхозы и совхозы... подлежат ликвидации".   
  
"К весне решить вопрос о роспуске..."   
  
"Фермеры страну не накормят!"   
  
"20 процентов хозяйств-банкротов ликвидировать".   
  
То строгие слова указа, то "записка из канцелярии", то вскользь, но отчетливо сказанное перед телевизионным экраном.   
  
А чтобы поверили, год за годом грабеж среди бела дня: зерно, мясо, молоко берем, но деньги заплатим через год, когда кровавым потом заработанный рубль станет копейкой.   
  
Такие методы - это "китайская пытка", когда раз за разом капля воды бьет по голому темечку.   
  
Последняя многозначительная новость, которая птицей пронеслась по области, "радуя" фермеров: представитель президента попросил составить список лучших коллективных хозяйств области, якобы для того, чтобы распространять их опыт. Всем понятно, что это не его собственная инициатива, в Москве что-то опять придумали...   
  
Так и живем. Хорошо еще, что время от времени нас подбадривают: "положение стабилизировалось", "падение производства прекратилось...". Как тут не почувствовать себя счастливыми?..

Каждый год в пору июльскую, когда поспевают хлеба, еду в Задонье: через мост, недолго - по асфальту на Голубинку, а потом - влево, дорогами полевыми на Липологовский, Фомин-колодец, Осиновский, Большую Голубую и дальше вдоль речки Голубой до самого Дона.   
  
Так было и нынче. Спозаранку выехал, не торопился, останавливаясь там и здесь: на убранном поле озимки, возле низкого ячменя, у ослепительно желтых подсолнухов, глядящих на встающее солнце. На стану уже опытных фермеров Горячева и Железнякова послушал привычное: "Обрубают руки по самые плечи... Зерно, говорят, не нужно... А на технику какие цены!.." Вместе повздыхали. Поехал дальше.   
  
Где-то в девятом часу утра приехал на Фомин-колодец, когда-то хутор Зоричев, он же Лукьянкин. Походил-побродил и стал подниматься на курган, с вершины которого бьет мощная родниковая струя. Еще издали слышен рокот трехметрового водопада. Вот и он: щедро льет сияющую на солнце воду в просторную за годы и века выбитую каменную чашу. Поднялся я выше, вдоль бурливого ручья. Задонская степь. Сухое лето. Выгоревшие травы. И земное чудо: три бормочущих, голосистых ключа, серебряных, чистых, невладанных, как у нас говорят, а значит, врачующих тело и душу.   
  
Стоял я на вершине холма. Просторный Калинов лог огромным распахом лежал предо мной. Внизу зеленели брошенные дикие сады давно умершего хутора. Насколько хватало глаз - поля и степь. Бронзовела озимая пшеница, серебрился ячмень, желтело убранное поле напротив - картина будто красивая, а на душе было горько. И в прошлом году бывал я на этих полях, и ныне их объехал, знал хозяев. Издали, сверху, картина красивая, а вот рядом...   
  
Тощий ячменишко, сорные поля, порой и не поймешь, что сеяли; или вовсе стоит прошлогодняя трава-старник, ее сухие будылья; или как в Липологовской балке, где новый землевладелец, вчерашний овцевод, осенью на непаханые бахчи кинул семена, на укоры ответив: "Никуда не денется, вырастет!" Выросло... Только вот что? А много ли лучше поля Бударина, Найденова?.. А ведь вот она Россошь, которая испокон веку была кормилицей всей голубинской округи. Вот она, живая вода, которую где-то ищут, скважины бурят, роют каналы, строят водоводы. А здесь, как говорится, Бог дал, только бери!   
  
В Калаче-на-Дону живет рядом со мною уроженка Фоминколодского, женщина уже пожилая. Старая мать ее за несколько лет до смерти стала просить:   
  
- Давай вернемся на хутор.   
  
- Куда возвращаться? - отвечала ей дочь. - Там нет ничего.   
  
- Все там есть: вода и земля родная, золотая. Они нас прокормят.   
  
Земля родная... Стирается ли твоя позолота?.. Скудеет щедрость твоя?.. А может, хозяина да работника нет? Не о том ли бормочут, спешат рассказать серебряные ключи Фомин-колодца... Но кто их услышит? На многие километры пустая степь.   
  
Потом я проехал через Осиновку и Осинов лог, где постоянный житель один больная старая женщина.   
  
В полях - тишина. Редко-редко увидишь комбайн. Встречных машин нет. А ведь хлеба поспели, уборочная страда. Не суета мне нужна. Но горько глядеть на хлеб, который скоро начнет осыпаться. Горько глядеть на поля, где и осыпаться нечему: сплошной осот.   
  
А потом был хутор Большая Голубая. Этот хутор - единственный в своем крае еще живой и жилой. Табунок детишек резвится на улице. Можно сказать, что Большая Голубая - это последний рубеж. Падет он - безлюдье ляжет на многие десятки верст. Лишь бедолаги фермеры будут по лету копошиться возле вагончиков. "Разбогатевшие", вроде Горячева, начнут саманные дома ставить.   
  
- Здесь родилась, с тринадцати лет пошла трудиться, всю жизнь на колхозной работе. Теперь пришла старость... А что у меня есть? Что за жизнь заработала? - вопрошает моя собеседница. - Нынче печурку во дворе слепила, как в старые годы. Кизяками топлю. Старик ругается: "Кружишься весь утр, а завтрак никак не сготовишь".А хутор разделит судьбу тех горьких селений, которые когда-то были рядом: Тепленький, Зоричев, Осиновский, Евлампиевский. Их не счесть. А умер хутор - значит, умирает земля. Никакими десантами с центральной усадьбы, никакими фермерами из Волгограда ее не оживишь. Вон они и все хорошие люди - в Осиновском и Фомин-колодце, в Евлампиевском, в Большом Набатове. Юристы, летчики, рыбаки... Порою честные, старательные, только жалко на них глядеть. А на землю, которая уже забывает шелест хлебных колосьев и снова превращается в Дикую степь, смотреть и горько и страшно...   
  
Окрестные хутора уже погибли. И восстанут ли? Большая Голубая выжила в самые трудные годы, хотя, конечно, должна была умереть. Но выжила. Честь ей!   
  
- Я жене сто раз говорил: уедем, пока в силах. А она твердит: родная земля, здесь родилась, здесь могилки... - жалуется В. Ф. Дьяконов.   
  
Он жалуется, а я низко кланяюсь Анне Георгиевне и готов целовать ее тяжелые черные руки, которые спасли эту землю, этот хутор.   
  
- С тринадцати лет работаю... Теперь нас кинули. Пенсию получаем. Но деньги не будешь грызть. А сил уже нет...   
  
Хутору Большая Голубая помогло наше общее большое несчастье: развал страны и горе миллионов беженцев. Пятнадцать семей приехало на хутор. Не какие-нибудь "перелетные", не условно освобожденные, за какими милиционера нужно приставлять, а рабочие, трудовые семьи, которым цены нет. К их беде, к их нелегкой судьбе отнестись бы сочувственно, тем более что они приехали сюда, поверив обещаниям руководителей "Сельхозводстроя".   
  
Теперь они без работы.   
  
Из разговора в районной службе занятости:   
  
- Если они принесут нам трудовые книжки со статьей об увольнении, мы будем платить им по четырнадцать тысяч. Но два раза в месяц они должны приезжать и отмечаться.   
  
(Пояснение от автора. Этих четырнадцати тысяч рублей хватит как раз для двух поездок в райцентр.)   
  
- А может быть, мы организуем там новое производство с рабочими местами...   
  
(Снова мои комментарии. Очень трудно будет "организовать новое", лучше не рушить старое.)   
  
Из разговора в районной администрации:   
  
- Там - сплошные убытки. Там - растащили скот. Там - запустили земли.   
  
(И снова мои комментарии. Кто запустил землю? Кто развалил производство? "Плохой" народ или "хорошие" руководители?)   
  
Ведь на той же земле получали самые высокие в совхозе "Голубинский" урожаи ячменя. С тем же "народом".   
  
За погубленную человеческую жизнь судят высшей мерой. Как же надо судить за погубленный хутор?!   
  
Каждый погибший хутор, селение - это наш шаг отступления с родной земли. Мы давно отступаем, сдавая за рубежом рубеж. Похоронным звоном звучат имена ушедших: Зоричев, Липологовский, Липолебедевский, Тепленький, Вороновский, Соловьи. Края калачевские, голубинские, филоновские, урюпинские, нехаевские донская, русская земля.   
  
Не провели семь ли, двадцать километров дороги... Закрыли магазин. Не захотели возить детей в школу. Пожалели копейку для фельдшера, а для учителя литр молока. Обидели невниманием старых. "Реформировали".   
  
И вот уже разошелся хутор. Умирает земля: на Россоши, на Саранском, в Зимовниках, на Козинке - на щедром, дорогом сердцу поле - вместо пшеницы поднялся седой осот да желтеет сурепка; и говорливую речку, Быстрицу ли, Панику, Ворчунку, полонит камыш, а пруд зарастает тиной и ряской. Так умирает Вихляевский ли, Помалин или милый Кузнечиков. Так постепенно умирает родина, у каждого она малая, своя, но для всех одна.   
  
Уходим. Бросаем за хутором хутор, оставляя на поруганье могилы отцов и дедов.   
  
Сколько будет длиться этот позорный марш отступления? Ведь уже вслух говорят и кричат, что не мы, а иные народы - хозяева донской степи, нашей матери.   
  
Не ведают, что говорят. А мы ведаем, что творим?!   
  
Хутор Большая Голубая.   
  
Осень 1994 г.

**Борис Екимов**

**ПРОВОЖАЮ**

В моей комнате, в книжных шкафах, украшая быт, лепится по краешкам полок,

за стеклянными створками, всякая всячина: безделушки, рисунки, памятные

открытки... Что-то порою выбрасывается, что-то объявляется. Прижился там и

простецкий черно-белый снимок, сделанный нашим газетным фотокором на одном из

хуторов. На снимке - мазаная хатка в два оконца, зубцы дворовой огорожи,

старая женщина. Голова ее укутана теплым платком несмотря на летнюю пору;

большие тяжелые руки лежат на планках ограды.

Когда меня порой спрашивают об этом снимке, я отвечаю: "Акуля". - "Родня,

что ли?" - "Нет, просто Акуля".

Хатенка. Сараишко в глубине двора. Склоненная к плечу голова. Большие руки

с шишкастыми пальцами отдыхают на планках ограды. Запавшие глаза еще и

прижмурились. Не разглядеть, что в них.

Встречались мы с Акулею несколько раз. Беседовали. Теплой порою - на воле,

в непогоду - в тесных стенах хатки-мазанки, где умещались кровать, деревянный

сундук, скамья, две табуретки, печка, столик с нехитрой посудой: кастрюля,

чугунок, пара мисок. Вот и весь нажиток ли, скарб.

Акуля погибла зимой, в конце января. Я жил тогда в городе, и хуторские

вести до меня не доходили.

Лишь весною, в теплом апреле, я приехал на хутор. Как всегда, перевалив

Прощальный курган, остановился наверху, вышел из машины, чтобы оглядеться.

Все было на месте: просторная долина, еще не затравевшая, но в нежной

желтовато-зеленой дымке, кучка домиков - внизу, в затишке, чуть далее -

синеющий Дон.

Рядом с дорогой кормилась на старых травах овечья да козья отара. Пастух,

скучающий в безлюдье, поспешил ко мне с расспросами да хуторскими новостями.

Он и сообщил про Акулю, про смерть ее.

- Отвезли, - указал он на хуторское кладбище, которое было рядом, на

бугре. - Зарыли...

- Понятно... - вздохнул я и пошел к машине.

Долгий Акулин век кончился. Память о ней рассеется скоро. Ветхая мазанка

быстро обвалится без хозяйского догляда, а потом рухнет и оплывет бугром. Еще

скорее сровняется с землей могилка на старом хуторском кладбище, осядет и

затравеет. Вот и все.

Из-под ног моих выпорхнул жаворонок и пошел вверх, заливаясь переливчатой

трелью. Он поднимался все выше; и вот уже нет ни серого комочка, ни трепета

крыл, лишь весенняя птичья трель льется и льется с неба, завораживая. А мне

чудится не птичья, а молодая девичья песнь:

Придет пра-а-аздник!

Придет праздничек!

Несколько лет назад, в такую же весеннюю пору, привел меня на этот хутор

нечаянный случай. Районные газетчики ехали в Задонье по своим обычным делам.

Пристроился и я, чтобы прокатиться, проветриться.

Приехали на хутор. Скатились с горы и встали возле запертого на замок

магазина. Но с ним по соседству в своем дворе копошилась старая женщина. На

машинный гул да на наш зов она откликнулась и, к забору подойдя, объяснила,

где и как искать хуторское начальство. Тогда еще колхоз был живой. Она стояла

у заборчика, повязанная теплым платком, тяжелые большие руки отдыхали на

планках ограды. Газетный фотокор, человек быстрый, навел аппарат и щелкнул.

Получился снимок, который теперь у меня. Для газеты он не сгодился.

А в тот далекий уже день мои спутники, ревностно исполняя газетную службу,

помчались по хутору, я же - казак вольный - остался. Мне некуда и незачем было

спешить.

Хуторская тишина, весенняя теплынь, дух первой зелени, вскопанной земли и

близкой воды, щебет ласточек, которые лепят гнездо под ветхой крышей сарая,

воробьиный гвалт да заливистые трели нарядных, сияющих вороненым пером

скворцов.

Да еще - старой Акули нехитрая повесть о жизни.

Как много в наших краях старых людей, доживающих долгий век в одиночестве!

Скольких я знал... Терпеливо слушал и переслушал столько рассказов. Они так

похожи. Тетушка моя - Анна Алексеевна, соседка Прасковья Ивановна... Василий

Андреевич, бабка Надюрка, Паранечка, дед Лащонов... На одной земле, под одним

белым небом прожили жизнь. Провожаю их. Нынче - просто Акулю, чья фотография в

городской квартире моей, за стеклянною дверцей шкафа.

- Это кто?

- Акуля.

- Родня, что ли?

- Нет, просто Акуля.

Сижу на высоком кургане. День весенний, апрельский. Просторная долина,

полого стекающая к Дону. Внизу лепится хутор: горстка домиков. Когда-то их

было много больше, целых триста дворов. Теперь на пустырях, на выгонах до

самой речки чернеют старые груши. Возле них - заплывшие, затравевшие канавы,

знак жилья, знак жизни, когда-то кипевшей здесь.

- Народу... Как в Китае... - вспоминала старая Акуля. - На сиделки

сбирались. Я дишканила... С Васей...

Бывало, соседи спросят: "Нынче идете на гулянку?" - "Идем". - "Тогда будем

ждать..."

И до позднего часа ждали, когда будут возвращаться молодые с гулянки.

Ой да дорогая моя девчоночка!

Ой да раздушоночка!

Кото... которую я люблю!

Люблю крепко!

Ой да дай срок, дай срок,

Я тебя распроведаю.

Придет пра-аздник... -

обещал бархатистый, еще ломкий мужской басок.

И в лад ему, вначале несмело и будто не веря, вздымался, а потом расцветал

в ночи серебряный высокий "дишкан" молодой Акулины.

Придет праздник! -

счастливо голосила она, -

Придет прааздничек!

То не голоса людские, то летняя ночь благовестила, то молодость, то любовь

ликовали:

Придет праздничек!!

Распроведаешь!!

А потом - война, Великая Отечественная.

**Пошли, пошли с Дона казачоночки,**

**Назад, назад донцы поглядают.**

Эту песню пели на Прощальном кургане возле хутора старые деды: хромой

Евлампий, Семен Фетисыч, Евграф Абрамович Пристансков...

Уходили казаки с окрестных хуторов. До Прощального кургана провожали их

всем миром. И потом глядели с кургана вослед.

Пошли, пошли с Дона казачоночки!

А они пошли и пошли, все далее уходя. Пока еще на родной земле.

Назад, назад они поглядают!

Они оглядывались и еще видели своих невест, жен, матерей, детей. А вослед

им, словно трубный глас, прокричали старые деды страшную правду:

**Гибнут, гибнут казаки молодые!**

И облились сердца кровью. Плач и стон смешались на Прощальном кургане.

**Гибнут, гибнут казаки!!**

Все в этой песне оказалось для Акулины правдою. Погибли и Вася, и папа,

родной братушка Андрей, родные дядья Матвей да Терентий, да братья

двоюродные...

Началась другая, долгая жизнь. К нынешней ее не приложишь.

- Потом, в совхозе, как-то было странно, - вспоминала Акуля, - пять часов,

конец работы, домой идут. А солнце еще высоко... Аж не верилось.

Но до совхозных порядков еще было далеко.

Работала Акуля всю жизнь при колхозной скотине. Зимой коров держали

близко, от хутора в трех лишь верстах. И теперь возле речки еще остались следы

коровника, базов да флигеля, в котором всю зиму жили доярки, навещая свою

хуторскую домашность лишь раз в неделю, на час-другой.

От темна до темна - работа. Поднялись, позавтракали: кружка молока да

желудевые пышки-джуреки, сухие, черные, их грызешь-грызешь, никак не

проглотишь. Двадцать коров у доярочки. Кормить, чистить, стелить. С гумен сено

возить, это - рядом. А солома - в поле, в снегу. Туда еще пробейся на

заморенных быках. Они встанут и не идут. "Цоб-цобе! Цоб, Лысый! Цоб!" А вода -

в речке, в проруби, ее начерпай да привези. А с телятами сколь колготы!

Детвора. Не успеешь оглянуться, время - к полудню. В обед постных щей

нахлебаешься. И снова за работу. Теперь дотемна. На ужин - тыква. Ее

запаривали в больших чугунах, нечищеную, нарезая кусками с кожурой. Это была

хитрость. Тыква дояркам не полагалась, ее для скотины заготавливали. Поэтому

кожуру не срезали, чтобы иметь оправдание, если начальство нагрянет с

проверкой. "Это для скотины. Видите, нечищеная... Для скотины..." И никакая

комиссия не придерется.

Вспоминаю Акулин рассказ. А может, чей-то еще. Они ведь так похожи: Акуля,

Катерина, вовсе старая Евлаша.

- Хлебушко обдутый едим, - это уже потом, через долгое время, умеряя

вечные жалобы детей своих, внуков. - Ломоть хлебушка можно соличкой посыпать и

с водой... Или сахарком сверху... Хрум-хрум. В постное маслице помакать

хлебушком, такая сласть...

Дальним полем зовутся хуторские угодья, что лежат и в самом деле далеко -

за двадцать пять километров, у Фомина-кургана. Там вольная вода, богатые

травы. Туда угоняли скот на летнее время. Там работы и вовсе как на точиле.

Доить коров, пасти, телят сторожить и отвозить молоко в станицу на сдачу. Да

еще сено косить, сгребать, копнить, скирдовать. Вроде долгий день, летний. А

приходится ночь прихватывать, особенно если луна.

- Девки-бабы! - приказывает бригадир. - Ныне заскирдовать Панское поле, до

самой Студенки! Девки-бабы, зимой дремать будем! Председатель обещал

премировать всех по два с половиной метра штанной материи. Так что старайтесь.

"Штанную материю" дояркам сулили уже который год. "Ныне будет, - обещал

бригадир. - Готовьтесь".

Верили- не верили, но мечтали: "Я юбку пошью...", "А я сарафан...".

Бедность была после войны. На Акуле юбка -– не схоронишься. Сшила ее из белой

немецкой нижней рубахи, а покрасила красным порошком из ракеты. Такой добыла.

Слава Богу. Форсила, не снимая эту юбку, зиму и лето. Красное издалека видать.

Когда раз в неделю прибегала на хутор к семье, дочка издали ее по юбке

угадывала: "Это - мама!"

С обувкой - вовсе беда. Зимой короткие валяные чуни-"обрезки", к ним

вязаные поголенки пришивали, для тепла. Но какое тепло... От холода трескалась

кожа на ногах, кровоточила. Летней порой - босиком. Весной да осенью чирики из

сыромятной кожи, шитые и сто раз чиненные хуторским чеботарем. День-деньской

ноги мокрые стынут. В обед чирики клали на печку, чтобы они не высохли, но

согрелись. Хоть минуту, но в теплом. Про руки нечего говорить, им работать.

Газетный фотограф, человек хваткий, щелкнул навскид аппаратом, а

получилась вся жизнь Акули. Вот она - на виду. На планках ограды руки лежат:

корявые, узловатые.

- Грабушки мои, грабушки, - горевала порою старая. - Все повывернулись,

закостенели, не владают. А мозжат - спасу нет. Реву по ночам... - И тут же об

ином, в раздумье: - Господи, как работали... То ли строгость была, а может,

совесть была...

Дед Афоня, баба Поля, пополам согнутая Агриппина Исаевна Бирюкова, могучий

и в старости Харлан... Провожаю ушедших и доживающих век.

- К детям, в город?.. Сядь со мной на рядок и послухай старого человека. Я

тебе все обскажу. Тама, в городе, - глушно, один об другого бьются люди. Воды

и той всласть не попьешь, она горчей полына. Я не брешу, у меня крест на шее.

- А порой прорвется иное, со вздохом: - Лучше бы я его трактористом зародила,

жил бы да жил возля... а там... От нас отчуралися. Свое дельце в руках, свой

адат. А ты - на прилипушках, как в плену. - И - решительное: - Нет уж!.. Пока

в силах... На своем базу... Коровку - нет мочи, а поросенка держу, курят.

Огород, слава Богу. Все по-людски. Никто слова не скажет. Из своих рук...

Старая Кацуриха, однорукий дед Евсеев, Прокопьевна. Нынче - вот Акуля, чья

фотография прижилась у меня в городской квартире, возле книг, за стеклянной дверцею. Просто Акуля.

1989

**ЗА ТЕПЛЫМ ХЛЕБОМ**

В пять утра зазвенел будильник, но прежде его петушиного гласа встала

бабка. Она уж из печи выгребла и затопила ее, когда затрещал будильник и

поднялся со своей кровати дед Архип.

- Ну как там, не потеплело? - спросил он.

- Не чутко, - со вздохом ответила бабка.

Дед Архип валенки надел, стеганку и вышел из дома. В первую минуту, с

избяного тепла, ему показалось, что на улице теплее вчерашнего.

Еще стояла глухая ночь. Чернели по белому снегу базы да сараи. Студеное

небо светило просяным звездным инеем, а посреди - одинокая Жарничка горела льдистым огнем.

Архип пошел на улицу. Перед самыми воротами дорожка была переметена

рыхлым снегом. Значит, не во сне, а наяву бушевал ночью ветер. И теперь

дорогу на станцию тоже перемело и утреннего автобуса не будет. Зябко

поеживаясь, Архип заспешил домой. А в доме уже печь гудела ровным огнем.

- Дюже тепло? - с усмешкой спросила бабка. - Телешом можно?

- Да потеплее... - неуверенно ответил Архип.

- Не бреши... - мягко укорила, жена. - Вон на окошке вторые шипки

позамерзали, а у тебя все теплеет, под носом. Уж не ездил бы, переждал

погоду. Да и праздник завтра. Добрые люди в праздник по домам сидят, не

шалаются.

- А тама будут нас ждать? - указуя коротким толстым перстом в потолок,

спросил Архип. - Пока мы отпразднуем? Да пока потеплеет? Тама тогда народу

налетит... Туча черная... Тришкина свадьба...

Бабка в ответ лишь вздохнула.

- Вот так-то... - закончил `Архип. - Надо сбираться, ехать. На автобус

я уж не рискую. Вчера не было, а ныне и подавно. Уж развиднеется, тогда и

тронусь. Пойду дозоревывать.

И Архип снова забрался в постель. Он уже вроде не спал, просто

подремывал, временами проваливаясь в зыбкое забытье и тут же возвращаясь в

явь. "А может, и пойдет автобус, - думалось ему. - А я разлеживаюсь. Сейчас

уж, гляди, на центральную пошел. Крутанется - и назад. Добрые люди уедут. А

может, и не пойдет. Вчера и в тот день не ходил, а нынче и вовсе мело..."

Хутор, где жили дед Архип с бабкой, лежал в тридцати километрах от

райцентра. По летнему да сухому времени были те километры недалекими, тем более что дважды в день, утром и вечером, пробегал через хутор маленький шустрый автобус. После легкого дождя автобус ходил лишь по грейдеру, боясь увязнуть в хуторских колдобинах. Но то еще была не беда: до грейдера и пешком можно добраться, четыре версты всего. А вот непогода напрочь обрезала крылья. Осенняя ли весенняя долгая грязь, зимние глубокие снега да переметы, ставили автобусы на прикол. И тут уж выбирайся, как говорится, своим средствием. А лучше всего сиди и не рыпайся.

Деду Архипу сидеть было никак нельзя. В прошлом году он угля не достал

и нынче дожигал остатнее. И совсем было приготовился на дровах зиму

бедовать, когда узнал о постановлении. Сначала в конторе услыхал, а потом

газеткой раздобылся. В газете все было написано так, как и добрые люди

говорили: льгота выходила бывшим фронтовикам, облегчение в жизни. Ив конце напрямик было писано: "проявлять постоянное внимание". Эти слова дед. Архип теперь уже наизусть помнил.

Почитал старик газетку, с бабкой и другими людьми посоветовался и

решил: надо в район ехать и добиваться топки, пока закон вышел. Прямо с

нового года идти, не тянуть. Кто рано встает, тому бог дает, и кто раньше

спохватится - легше будет.

Первые дни января Архип годил, давая людям отпраздновать да после

праздника похмелиться. А потом завернул мороз с ветром, дороги в низинах

перемело, и вот уже третий день не было автобуса. Два раза ходил Архип на

грейдер, но попусту. И сегодня накрепко решил Архип домой с грейдера не

ворочаться. Хоть на чем, да уехать. Дело было нешуточное: без угля зимовать

тяжко.

Время подошло к семи. По радио из области начали передавать последние

известия, Архип уши навострил, голос у приемника поубавил, чтобы бабка не

слыхала. "По северу области до тридцати..." - наконец обрадовала дикторша.

"И-и, глупая, - попенял ей дед Архип. - Заталдычила одно..."

- Чего там бубнишь? - спросила бабка. - Сколько объявили?

- Чего сколько? - притворился непонимающим дед Архип.

- Не придуряйся... Про погоду чего сказали?

- А-а, слухать их... - пренебрежительно ответил дед Архип. - Они здеся

были, на хуторе? Видели они нашу погоду? Сидят в тепле, поустроились и

брешут.

- Померзнешь на сухарь, - вздохнула бабка.

Архип наскоро умылся, сел к столу. Бабка принесла с печи в полотенце

завернутый горячий хлеб. Привозили хлеб на хутор редко, особенно в непогоду,

но люди приспособились. Черствую буханку заворачивали в полотенце, в широкую кастрюлю наливали воды, ставили миску, а в нее хлеб. Вода в кастрюле кипела, под крышкой хлеб отпаривался, становился волглым, мягчел.

Выпив стаканчик самогонки, Архип принялся щи хлебать. Жена сидела

рядом, вздыхала.

- Ныне-то уж не вернешься... - сказала она;

- Дал бы бог добраться. А на ночь-то глядя... Уж завтра.

- У Василия ночуешь?

- А где же...

- Сон мне нынче привиделся, а к чему - не приложу, - задумчиво сказала

жена. - Маму видала. Мама хлебы печет. Вынимает, хороший, такой хлеб, чую -

сладкий, и так мне хлебушка хочется. А она не дает. Я прям слезьми кричу:

мамушка, родная, ну дай хоть кусочечек, хоть чуток. А она не дает. А мне так

хочется... Такой у него дух, прям донельзя сладимый. Почему не дала? -

спросила бабка. - Либо чем обидела ее, не так помянула? Прям в голову не

возьму.

- Солонечиху поспрошай, - усмехнулся Архип, - она разложит.

- Придется, - всерьез ответила жена. - Ты дюжей ешь. Щи и мясо. Я тебе

и самогонки для этого дела налила. Дюжей наедайся, а то померзнешь.

- Не замерзну, - успокоил ее Архип. - Как пододенусь, нехай тогда...

Оделся он, как всегда, по-зимнему, по-стариковски: теплое белье,

телогрейку и ватные брюки, валенки, овчинные рукавицы. Но теперь, в дорогу,

он надел поверх всего зеленый плащ-"болонью". Его когда-то сын за

ненадобностью бросил. Но старикам плащ пришелся по нраву и впору. Он был легок и плотен, ветра не пропускал.

- Ну, оставайся тут с богом, - сказал Архип.

- Ты тама не задерживайся, - ответила бабка. - Праздник находит, а я -

одна. И сон, видишь, какой нехороший видала. Родная матушка хлебца не дала.

А уж так хотелось...

Из своего двора вышел Архип ровно в девять часов. В эту же пору на

центральной шоферы в гараж приходят. Пока они машины разогреют да соберутся, гуда да сюда, пока тронутся, Архип к грейдеру подгребется. Вот и получится впору.

Красное с морозу солнце только что поднялось. Багровые дымы редким

лесом вздымались над хутором; легко, словно тоже с морозцу, розовело небо, и

вся глубоким снегом полоненная окрестность, и даже сороки, молчаливыми

стаями сидевшие на деревьях, даже сороки отдавали розовым.

Особо не надеясь, а просто на всякий случай, завернул Архип на

колхозный двор. Ехали две машины на станцию, за комбикормом, но с шоферами сидели грузчики. Больше ничего не предвиделось.

Дорога от хутора к грейдеру лежала прямая, торная, снегом ничуть не

занесенная. Одет был Архип тепло, легкой была амуниция, тела не вязала, и

потому шагалось хорошо. Мороза он особого не чуял, но в лицо дышала стылым холодом белая степь. Куржак кучерявился по краям шапки-ушанки. И время от времени Архип рукавичкою тер нос и щеки, чтобы не познобить их.

День, судя по всему, должен выдаться удачным. Машины, конечно, пойдут,

никуда не денутся. Так что добраться в район можно будет. И с углем должно

выгореть, не зря ж в газете написано черным по белому. Эту газетку прихватил

с собой дед Архип на всякий случай. Раз вышло такое указание, значит, и

приказ из Москвы пришел: помогать всемерно. И уж чем-чем, а топкой помогут.

Тем более зима такая стоит. И собрался он сразу, вовремя сообразив, что к

чему. Тут ведь тоже политика, Архип ее понимал: первым надо прийти, пока

гуртом не полезли. Архип это понимал и радовался своей смекалке. Может, даже сегодня прикатит он в хутор с углем, прямо на машине, может, и завтра. Завтра, конечно, повернее. Нынче запишут, а завтра велят прийти. Так всегда бывает. Переночует он у племянника Василия. Вечером посидит с ним, бутылочку выпьют. Василий - человек грамотный, с ним и потолковать не грех. Посидят, побеседуют, А уж завтра, с углем, прибудет Архип домой.

Так, в добрых мечтаниях и по ровной дороге, добрался старик до

грейдера. А на грейдере, возле кирпичного строения автобусной остановки,

толпился народ.

- Здорово живете, добрые люди, - поднимаясь на полотно грейдера, весело

проговорил Архип. - Заждалися меня? Я вот он, прибыл. Теперь шумите, нехай

машины едут.

- Шумим с ночи, - здороваясь, ответил знакомый из Вихляевки, - а они

либо пооглохли,

- Не было автобуса?

- Был бы - уж уехали.

- Какая беда, - огорчился Архип, а в душе похвалил себя, что не пошел

впотьмах, удержался.

Народу у остановки собралось немало. Стайка молодежи табунилась подле

черного, прогоревшего кострища. Пальтушки на них были всякие: и добрые, и

продувные, а прочая сбруя: брюки, юбки да чулки, а тем более обувка -

никудышные. Оттого и на месте им не стоялось: топотили да бились "на любка"

- грелись. Знакомый из Вихляевки был с дочкой.

- В техникум провожаю, другой день не провожу, - объяснил он Архипу. -

Харчей наклали, одна не дотянет. Другой день выходим.

- А эти ребята либо тоже ученики?

- Кто откуда. С техучилища, школьники. Дубовские большинство да наши.

Моей-то край надо, экзамены сдает.

- И прямо с ночи стоите?

- А то как же... Ныне в четыре поднялись, в полшестого здесь были. Вот

и стоим дожидаемся.

Народ собрался свой, с ближних хуторов, с Вихляевского, Тубы, с Малой

Дубовки. Архип пошатался от одного к другому, поздоровался. От Малой Дубовки показались пароконные сани.

- Вот и уедем! - обрадовался Архип. - Посадимся и айда!

- Да-а, сейчас на лошадях далеко уедешь.

- А как же бывалоча в старые-то времена?

- В старое время лошади были да и одежка. Тулуп, добрый надеть, тогда и

конечно. А эти куда? - показал мужик на ребят да девчат.

- Да и тебя в твоей телогреечке быстро просифонит.

- Это верно, - согласился Архип.

Тем временем подъехали сани. Кроме кучера, сидели в них две женщины,

укутанные ковровыми платками. Заиндевевшие лошадки ткнулись к будке; возница бросил им соломы и баб начал ссаживать. Одна была помоложе, с огромной, одеялом обмотанной ногой. Архип тут же к ней направился.

- Здорово живете. Это чего с тобой сделалось?

- Да ногу поломала. В гипсе. Теперь вот ехать надо. Велели приехать.

Может, сымут.

- Какая беда... - заохал Архип.

Молодые ребята решили соломкой с саней подразжиться, чтобы костер

запалить. Но возница их вовремя заметил.

- Куда тянете?

- Посогреться... Соломы, что ль, жалко?

- Я не для вас клал. Лошадям да сидеть. А соломой все одно не

согреетесь. Лишь пыхнет. В лесополосе вон, хворосту наберите. Молодые, да

ленивые.

Ребята его не послушались, за хворостом не пошли, а подожгли охапку все

же унесенной соломы. Сгрудились над невысоким пламенем. Кто руки к огню тянул, кто распахнул одежонку, чтобы тепло телом почуять. А кто промерзлые башмаки грел над пламенем.

- Гляди, штаны загорят, - остерег Архип.

Но штаны сгореть не успели. Пламя быстро угасло.

И наконец-то послышался гул, далеко, но явственно. От центральной

усадьбы по грейдеру шла машина. Все разом стали выглядывать да гадать: одна

ли машина идет да какая. Поклажу из кирпичной будки разобрали. А оказалось

зря: зеленая "скорая помощь" с центральной усадьбы прошла и не остановилась.

Правда, была она битком набитая. И через стекла видно, и шофер по горлу себе

ладонью провел; дескать, полно, И укатила машина дальше.

- Твою мать... На центральной, как короли, живут, понасадились.

- Да можно бы еще взять, не схотел.

- Хозяин...

А в следующую минуту головы повернулись к той дороге, которой пришел

Архип. Оттуда гудело. И скоро вылетели из-за лесополосы два "газона" -

самосвала. Выскочили они на грейдер и встали передом к станции, куда и

направлялись. Это были те самые машины, что за кормами шли. В кабинах у них,

кроме шоферов, грузчики сидели. Тут и проситься было некуда. Но минут десять

спустя от центральной усадьбы еще три грузовика подвалило. Тоже на станцию,

за кормами.

Начался тут гвалт и содом. Все разом бегали и просились, а проситься

особо было некуда. В кабину много не поместишь, Да там уж и сидели. Уехали

девчонка-студентка и двое мужиков. Хотели женщину уважить, с гипсом, да она

не влезли. Молодняк в кузов просился, но шоферы их не взяли. И правильно

сделали. По такой погоде в кузове не ездят.

После того как ушли машины и долго гудели, поднимаясь в гору, и долго

чернелись на белом снегу, после того как затихли они, настроение упало.

Каждый думал про себя, что и, он мог бы сейчас ехать в кабине уже далеко

отсюда и скоро прибыть на место. Тут еще "козел" проскочил, не остановился,

за ним "Москвич", полный. Бабы прижухли под убеленными инеем платками.

Мужики стали ходить по дороге взад и вперед, набирая тепло. Архип тоже

прошелся. Ветерок хоть и легкий был, но лицо прихватывал; оно дубенело, а в

затишке горело огнем. Молодежь притихла, ребята, не переставая, курили,

Наконец их совсем допекло.

- Костер давай! Согреемся!

И они стайкой скатились но откосу, по колено и выше увязая в мягком

снегу, и стали по лесополосе собирать сушняк, ломать сухие ветки. Потом

соломкой разжились, нашли газету и долго разжигали огонь. Руками уже не

владали.

К костру подошли и бабы. И тут Архип разглядел, что старая женщина под

тяжелым платком - его давняя знакомая, Феня Чурькова. Она лишь недавно к

младшей дочери в райцентр уехала.

- Либо ты, Феня? - подошел к ней Архип.

- Да, а то кто же.

- А я тебя не угадал. Укулемалась в этот платок. Ты откель же?

Не успели они и двух слов сказать, как новая тревога поднялась: шел

"автобус. Молодые ребята начали костер топтать.

Снова вещички свои разобрали. В автобусе должны были все поместиться.

Как сельди в бочке, но влезть. Как-нибудь, но доехать, а не стоять на таком

морозе.

Тупоносый колхозный автобус, совсем пустой - это даже Архип разглядел -

притормозил, остановился. А когда кинулись к нему гурьбой, он тронулся,

свернул налево с грейдера к хутору Малодубовскому и поплыл неторопливо,

вперевалочку, оставив на дороге еще одного бедолагу с чемоданчиком.

- Куда? Куда он? - накинулись тотчас на него.

- В Малую Дубовку, собрание проводить.

- Да он туда не проедет, - сказал возница. - На лошадях еле проехали.

Хоть спросил бы. Сейчас сядет, - пообещал он, не спуская с автобуса глаз.

Автобус, и точно, сел. Проехал немного, забуксовал, забуксовал.

- Вот так тебе и надо! - торжествовали на грейдере.

- Чего он туда? Для какого бесу?

- Собрание, говорю, проводить. Зоотехник поехал. Предвыборное собрание.

За депутатов чтоб голосовали, агитировать.

- Еш твою... - шутливо заругался Архип. - Вот бы он в автобусе и

проводил агитацию. Нас бы посадил и до самой станции читал да читал. Оттель

снова взял людей, и их бы... Да мы б за него все голоса поотдавали, даже

лишние, за такого хорошего. Ты нас только до места довези.

Молодежь встала кружком, пошушукалась и всем табором подалась по домам:

четверо в Малую Дубовку, двое в Вихляевку. Те, вдвоем, рысью помчались,

застучали по набитой дороге словно коваными промерзшими подметками башмаков.

Остались Архип, Феня Чурькова, женщина с гипсовой ногой, муж ее на

лошадях - лошади уже в белой шубе стояли, понурившись, - и еще два мужика.

Архип всерьез начинал мерзнуть. Хоть н одет был неплохо, но полегонечку

пробиралась к телу стынь. Просекал ветерок, и ноги коченели. Не шибко грела

старая кровь. Но сдаваться он пока не хотел. Ребята, считай, шесть часов

отстояли, а он лишь в девять из дому. Надо было терпеть.

- Еш твою... - пожаловался Архип. - Дураку надо бы самогонки взять.

Глонул, и хорошо. - Лицо то чугунело и стало отдавать сизостью. - А то вот

стой теперь. Либо "цыганочку" станцевать. - Хлопая себя по плечам и груди,

он засеменил, на месте перебирая ногами. - Еш твою... Так бы бечь и бечь до

самой станции.

- Тебе бы надо не сюда идти, а прямиком на Перещепной. Там Алексеевский

грейдер, асфальт. Там машины всегда.

- На Перещепной, парень, нынче не дюже доберешься.

- А сколько там километров?

- Да бес их мерил. Пять, а може, семь, а може, все десять. Нет, десять

не будет. А дорога тяжелая, по займищу. Где там лезть. Застрянешь в снегу.

Потонешь навовсе. Туда я не рискую,

- Мерзни здесь.

- Чего ж, такая, значит, судьба, - ответил Архип и пошел к затоптанному

костру, чтобы снова разжечь то.

Сухой хворост занялся сразу же, но жидкий его огонь грел лишь ладони

рук и только.

Костерок быстро догорел, и призрачное тепло его быстро развеялось в

студеном поле. Белая степь лежала вокруг, белая дорога дымилась поземкой,

чернели вдоль дороги, в снегу по пояс вязки и клены, и не было никаких

машин. Лишь синий автобус как застрял на пути к Малой Дубовке, так и стоял

там неприкаянно.

Мохнатые от белого инея лошаденки покорно опушили головы и солому не

жевали. Мужик-возница, бросив окурок, сказал жене:

- Поехали, а то вторую ногу отморозишь. Ничего боле не будет. Тетка

Феня, ты как? Или рискуешь?

- Да сама не знаю. Меня ждут. Чего же это такое сделалось? Погода

совсем разорилась.

- Стихея... - ответил Архип. - Стихея.

- А може, нам бог поможет, - нерешительно оказала Феня.

И словно услышав старую Женщину, издалека-издалека, со стороны Малой

Дубовки, донесся слабый, но явственный рокот. Это был рокот трактора.

- Автобус либо вытягать едут?

- Похоже.

- Его бы подале запихнуть, чтоб до весны сидел,

- Машина.

- Где?

- Трактор машину тянет.

- Либо из Большой Дубовки?

- А откель еще? Из Большой. Это на станцию они едут. До грейдера -

трактором, у них там балки непролазные.

- Може, на центральную?

- Не, на центральную прямая дорога.

Трактор рокотал все ближе и ближе, за ним, на тросу, тянулась машина с

брезентовым верхом. И наконец они выехали на грейдер. Машину отцепили, Она

шла в райцентр, на станцию, В кузове, под брезентовым тентом, было людно. Но

уселись все. Архипу на лавочке места не досталось. Он пристроился почти у

заднего борта, на запасном колесе.

Ехали долго. Заворачивали в Березовку, людей ссаживали, две свиные туши

сдавали. Пришлось ждать. Мужик с головой, обмотанной бабьим пуховым платком,

все охал, зубами маялся.

И в четвертом часу прибыли наконец в райцентр. Правда, Архипу подвезло:

машина остановилась неподалеку от конторы, где выдавали уголь.

В поселке было теплее, чем в степи. Но Архипа, до нутра промерзшего за

день, познабливало. Согрев был один - курево. И старик закурил, отряхнул с

плаща и валенок снег и направился к воротам "Гортопа". Ему дважды

приходилось покупать здесь уголь, и порядки были знакомы. По правую руку от

входа стояла контора, но спешить туда Архип не стал, а прежде оглядел

территорию. Уголь был. Возле рельсовых путей высился курган мелкой

"семечки". Отдельно лежала куча доброго угля, антрацита. Обглядев эту

картину, Архип вошел в контору. Там помещались три стола и сидели за ними

женщины.

- Здравствуйте, дочушки, - снимая шапку, поздоровался Архип. - С

праздничком вас, с рождеством Христовым. Или вы в городе такие праздники

отменили? А я вот к вам пришел по-деревенски прославить, може, вы мне чего н

подадите. - Он тонкую политику вел, подлаживался и немножко дурачка

деревенского из себя строил. - Рождество твое, Христе боже, воссияй миру

свет разума... Не славят у вас так-то вот?

Конторские женщины заинтересованно головы подняли.

- Нет, деда, у нас было, да прошло.

- А вот у нас до се славят. Ныне моя бабка конфетов приготовила,

печеньев, мелких денег. Родне и постарше какие - тем бумажные,

- Взрослые славят?

- А почему? Славят. Приходят как положено. - Архип, конечно, лукавил.

Старое отошло. Из взрослых один на хуторе славильщик остался, Афоня

Чертихин. Тот ходил. Остальные давно бросили. Но сейчас Архипу впечатление

нужно было произвести, задурить бабам головы. - Приходят. А как же?

Прославят. Вольешь им самогоночки...

- Ну, это и нашим мужикам покажи выпивку, они не то что бога, черта

прославят,

- Точно! Запоют еще как...

И женщины, о пьянстве мужиков вспомнив, к Архиповым речам как-то, сразу

остыли и спросили его:

- С чем пожаловал, деда? Угля нету.

- Как нету? А на дворе?

- Мало что на дворе... Мы же к тебе во двор не лезем, не высматриваем,

где что лежит. Нету. Это учреждениям.

Полная женщина, в очках - она возле окошка сидела - догадалась:

- Да ты же и не наш? Ты где живешь? Откуда ты?

- С колхоза.

- Ну вот в колхозе и получай. Ты вывеску видал? Гор-топ. Мы теперь

только город снабжаем. Понятно?

- Нету у нас в колхозе угля, не дают. Чего бы я ехал? Нету. Порошины

нету. А у меня весь вышел. Чего же нам с бабкой теперь, померзать? Помогите,

Христа ради. Вы - девчата хорошие, с праздником я вас поздравил. Поимейте

снисхождение к старикам.

- Де-еда... Тебе русским языком говорят: гор-топ. Снабжаем только

город. А сейчас и своим не даем. Понимаешь? Обращайся в колхоз. Вас теперь

централизованно снабжают, отдельно. А мы ни при чем, понял?

- Куда же мне идти, дочушки? Поимейте снисхождение. Зима глядите какая.

А топка, зарезает. Какие помоложе, на технике, те достают. А мы с бабкой

кому нужны, пенсионеры. А в свое время трудилися. И нынче я, по

возможности... То сад сторожу... Фронт я прошел, - главный свой довод

наконец выложил Архип. - Заслужил награды. Вота и удостоверение есть, -

начал он плащ расстегивать.

- Не надо твоих удостоверений. Тебе же говорят - в колхоз обращайся. А

мы - гор-топ. В колхоз иди.

- В колхозе конь не валился. Чего я туда пойду? Порошины там нету угля.

А вы обязаны... А как же... - стал запинаться дед Архип, все свои слова

выговорив, и, расстегнув телогрейку, вынул на свет божий газету, которая

лишь видом своим придала ему сил; и голос выправился, стал твердым. - Вот...

правительство что говорит? - потряс он газетой. - Для участников войны в

первую очередь! - Он даже воскликнул тонким, сорвавшимся фальцетом. - А вы

мне голову кружите. - И снова в голос, чуть не в крик, проговорил наизусть,

не глядя в газету; - Проявлять постоянное внимание!

Женщины, поняв, что старика не унять, терпеливо слушали его, а потом

одна из них, самая молодая, спокойно спросила:

- Ты, деда, русский человек или нет? Мы же тебе объяснили...

Архип вдруг в единый миг понял: угля не дадут. Он понял, шапку натянул

и пошел из конторы.

Время стояло не раннее. Короткий зимний день догорал желтым, режущим

глаз закатом. Солнце уже утонуло за крышами домов до утра. И теплые звезды

земных огней зажигались в домах.

На центральной площади поселка нещадно дуло, по серому асфальту шуршала

поземка. А в домах, видно, было тепло, форточки открыты, даже двери настежь.

И как только подумал Архип о тепле, о покойном домашнем тепле, так

сразу окоченел. Казалось, единым махом просек его до костей и насквозь

студеный ветер. Архип сжался, пытаясь сохранить в теле хоть теплую крупицу.

И скорее, скорее поковылял к магазинам, что стояли за площадью, справа. Там

можно отогреться.

Он прошел полпути, когда пахнул ему в лицо сладкий запах свежего

пшеничного хлеба. Архип споткнулся и стал, вначале ничего не понимая, он

замер и стоял, вновь и вновь вдыхая этот благостный, добрый, почти забытый

дух. Надышавшись всласть и опомнившись, Архип пошел к хлебу, к магазину.

Хлеб выгружали из машины. Старик, глотая слюну, прошел в магазин, и

голова его кругом пошла, опьяненная райским запахом хлеба.

Народу не было. Продавщица в белом резала свежие буханки пополам и в

четверть и бросала их на полки, прикрытые стеклом. Архип потянулся к

четвертушке. "Я заплачу, дочушка, заплачу..." - пробормотал он и

захлебнулся, когда в руке у него очутилась теплая горбушка. И стыдясь, и;

ничего не умея с собой сделать, Архип лишь успел шагнуть в сторону и,

разломив четвертушку, начал есть ее. Так сладок был этот чистый пшеничный

хлеб с упругой, хрусткой корочкой, с еще горячей ноздреватой мякушкой, так

вкусен был и едов, что Архип не заметил, как съел четвертушку. Последний кус

проглотил и почувствовал, как теплый хлеб обогрел нутро и по жилам потек

горячим током. А хотелось еще. И он снова подошел и взял четвертушку,

оправдываясь перед продавщицей: "Я заплачу, дочушка, не боись, деньги есть.

С дороги я, наголодался за день, намерзся... Теплый, хлебушко..." - дрогнул

голос его.

- Ешь, дедушка, на доброе здоровье...

Вторую четвертушку дед Архип ел медленнее, но с еще большим вкусом. Он

жевал и чуял языком и небом, пресную сладость пшеничника, слышал еле

заметный и дразнящий дух хмельной кислины и сухарную горчину корочки. Вторая

четвертушка тоже кончилась. После нее деда Архипа ударило в пот. Перед

продавщицей было стыдно, но хотелось хлеба еще. Сладкий дух его нагонял

слюну.

- Уж прости, дочушка, я еще съем. Наскучал по свежему хлебушку. Сколько

лет-годов теплого не ел.

Продавщица ничего ему не ответила, поглядела внимательно и ушла в свою

каморку и скоро вернулась с полной кружкой горячего чаю. Она и стул

принесла, усадила деда Архипа возле подоконника.

- Садись, дедушка. Пей, ешь, отогревайся.

Горячая волна благодарности к незнакомому доброму человеку подступила к

сердцу.

- Спаси Христос, моя доча, - тихо сказал Архип, опускаясь на стул. -

Спаси Христос.

После третьей четвертушки он сделался сыт, согрет и здоров. Допив

сладкий чай, старик поднялся, деньги заплатил. Пора было правиться на

ночлег, к племяннику. Но дед Архип, казалось, не мог уйти от этого доброго

хлебного духа, от золотистых буханок, что трудились за стеклом. И хотя у

Василия, конечно, был хлеб, но Архип не стерпел, купил буханку. Ее даже в

руке держать было хорошо; чуять пальцами упругую корку, под которой горячей

кровью бродило тепло неостывшей живой мякушки. Старик расстегнул плащ,

телогрейку и осторожно упрятал буханку на груди., Хлебное тепло и дух теперь

были с ним.

И вдруг о бабке, а жене, о родной своей старухе вспомнил Архип. Он

вспомнил вдруг, как говорила она ему нынче утром о своем непонятном сне.

Что племянник, что его ночевье, что уголь - все это ерунда. А вот

старухе хлебушка принести свежего, как обрадуется. Жизнь с нею прожили,

много ли радовал. Может, лишь в молодости. А потом... Какая жизнь потом,

долгая... И может, в последний раз, да, еще перед праздником, свежего хлебца

ей, словно из вчерашнего сна, разговеться.

Архип вынул из-под полы, из-за ремня мешок, положил туда пять буханок.

А ту, первую, оставил при себе.

- Спаси Христос, доченька, - поклонился он продавщице, - с праздником

тебя.

За минуту наново все перерешив, Архип знал, что он будет делать. Он

пойдет на Алексеевский грейдер и доедет до Перещепновки. А там, с асфальта,

к ферме, ее огни будут видны. От фермы вниз, на луга займища, оттуда сено

возят, дорога пробитая. Сроду там сено оставляли на зиму. От лугов взять

правее, занесенные Чуриковы талы обойти. Потом левее, через летник, там

тихо. Выходить на Пески, на Большие, на Малые городбища, а там - считай,

дома. Он дойдет, доберется. И снега, и мороз - это не беда.

То ли еще было. Здесь все свое, родное, хоженое-перехоженое.

А за пазухой грел ему сердце теплый хлеб.

**БОРИС ЕКИМОВ  
      ФЕТИСЫЧ**        
      Время - к полудню, а на дворе - ни свет, ни тьма. В окна глядит сизая наволочь поздней ненастной осени. Целый день светят в домах по хутору электрические огни, разгоняя долгие утренние да вечерние сумерки.  
      Девятилетний мальчонка Яков, с серьезным прозвищем Фетисыч, обычно уроки готовил в дальней комнате, там, где и спал. Но нынче, скучая, пришел он на кухню. Стол был свободен. Возле него отчим Фетисыча, Федор, маялся с похмелья: то чай заваривал, то наводил в большую кружку иряну - отчаянно кислого "откидного" молока с водой. Тут же топала на крепких ножонках младшая сестра Фетисыча - кудрявая Светланка.  
      Мальчик пришел с тетрадью и задачником, устроился за столом возле отчима.  
      - Места не хватило? - спросил его Федор.  
      - Я вам не буду мешать, - пообещал Фетисыч. - Вроде меня и нет. А за тем столом мне низко. Я наклоняюсь, и осанка у меня портится.  
      - Чего-чего? - переспросил Федор.  
      - Осанка. Это учительница говорит. Можешь спросить, если не веришь.  
      Федор лишь хмыкнул. К причудам пасынка он привык.  
      Вначале сидели молча. Фетисыч строчил свою арифметику. Федор пил чай и, скучая, глядел в окно, где сеялся мелкий дождь на серые хуторские дома, на раскисшую землю. Сидели молча. Малая Светланка таскала из ящика за игрушкой игрушку: пластмассовую собаку, мячик, куклу, крокодила - и вручала отцу с коротким: "На!" Федор послушно брал и складывал это добро на столе. Горка росла.  
      Фетисыч скоро от уроков отвлекся.  
      - Хочу тебя обрадовать, - для начала сказал он отчиму. - Ты же вчера был пьяный, не знаешь. А я пятерки получил по русскому и по арифметике. По русскому - одну, а по арифметике - две.  
      Федор лишь вздохнул.  
      - Ты не думай, это непросто, - продолжал Фетисыч. - Одну пятерку по арифметике - за домашнее задание, а другую - по новой теме. Я ее понял, к доске вышел и решил.  
      - Заткнись, - остановил его Федор.  
      Фетисыч смолк. Снова повисла тишина. Светланка, мягко топая, таскала и таскала игрушки отцу. Горой они на столе лежали. Потом, заглянув в ящик, сказала: "Все" - и развела руками. И теперь пошло наоборот: подходила она к столу, говорила отцу: "Дай". Федор молча вручал ей игрушку, которую дочь несла к опустевшему ящику, и возвращалась к столу с требовательным: "Дай!"  
      Они были похожи, родные дочь и отец: кудрявые волосы - шапкой, черты лица мелковатые, но приятные. Отца старила ранняя седина, мятые подглазья, морщины - пил он в последнее время довольно крепко и быстро сдавал. А малая Светланка, как и положено, была еще ангелочком в темных кудрях, с нежной кожей лица, с легким румянцем - красивая девочка. Мальчишка же, Яков, что по характеру, что по стати был для Федора кровью чужой. Фетисычем его звали за разговорчивость, за стариковскую рассудительность, которая приходилась то кстати, а то и совсем наоборот. Как теперь, например, когда Федору с похмелья и без разговоров свет был не мил. Фетисыч понимал это, даже сочувствовал. Углядев, как отчим косит глазами на жестяную коробку с табаком-самосадом и морщится, он сказал:  
      - Хочу тебе предложить. Ты вот болеешь сейчас с похмелья. А ты наберись силы воли и брось сразу курить. Помучаешься, зато потом тебе будет хорошо.  
      - Это ты сам придумал? - спросил Федор.  
      - Конечно.  
      - Значит, дурак.  
      Пришла с работы, с коровника, мать Фетисыча - Анна, женщина молодая, но полная, с одышкой. Через порог шагнув, она присела на табурет, укорила:  
      - Сидите? Дремлете? А мамка ваша - вся в мыле. Опять на себе тягали солому и силос. Вся техника стоит.  
      - А бригадир чего же? - живея, спросил Федор.  
      - От него проку... Ходит - роги в землю, ни на кого не глядит.  
      - А Мишки Холомина "Беларусь"? Он - гожий.  
      - Мишкин трактор теперь один на весь хутор. За ним, как за стельной коровой, глядят. Говорят, на случай. Кто заболеет... Или за хлебом. Тетка Маня правду гутарит: надо быков заводить. Бык - скотина беспогрешная. Ни солярки ему не надо, ни запчастей. На соломке попрет.  
      Анна пришла в себя скоро: недолго посидела, прислонившись к стене, пожаловалась и, поднимаясь, спросила строго:  
      - А даже из печки не выгребли? Меня ждете? И угля нет?  
      Фетисыч, не дожидаясь, пока погонят его, резво подался в сарай, за углем. Вернулся он, как всегда, с новостями:  
      - Набирал уголь... Там глыба такая огромная. Я молоток взял и ка-ак ударил ее! Со всех сил! И вдруг - взрыв такой! Все осветилось! - Он вскинул руки. Глаза его сияли восторгом. - Там же темно. И вдруг огонь! Синий такой!  
      - Ты, может, спичкой чиркнул? Поджег? - тревожно спросила мать.  
      - Нет. Я глыбу ударил - и сразу такой взрыв!  
      Федор молчком сходил в сарай и сразу вернулся.  
      - Чего там? - спросила жена.  
      - Как всегда, брешет, - махнул рукой Федор, а пасынку сказал: - Ты на рожу на свою погляди в зеркало, взрывник.  
      Но Фетисыч еще не все рассказал. Он вынул из кармана телогрейки четыре куриных яйца и сказал матери:  
      - Ты меня не ругай, ты прости меня. Я одно яйцо разбил нечаянно.  
      - Это уж как положено. Хорошо, хоть не все кокнул.  
      - Зато я сделал доброе дело: тетку Шуру обрадовал. Я из гнезда забрал яйца, там их десять было. Пять темных и пять белых. Я сообразил: у нас все куры красные, они темные яйца несут, а у тетки Шуры - белые, значит, ее куры у нас снеслись. Правильно я сообразил? А тетка Шура как раз во дворе была. Я ее и обрадовал, отдал пять яиц и сказал, что всегда буду белые яйца ей отдавать. Правильно я сделал?  
      Федор ухмыльнулся.  
      - Тебя кто за язык тянул? - досадуя, спросила у Фетисыча мать. Тебе кто велел лезть в эти гнезда? Темные, белые... Грамотей. Либо тебе куры докладывают, какие они яйца несут? Знахарь... Она своих кур сроду не кормит. А мы вволю сыплем. Вот они и бегут на чужбинку. А ты ей - яйца. И она взяла, бесстыжая. А ты вечно суешь свой нос куда не просят.  
      Фетисыч все понял и молча убрался из кухни. Добро, что дом был немалый: три комнаты кроме кухни. Самая дальняя - его. В невеликой этой комнатке стол да кровать помещались, на стене - красочный плакат улыбчивого мускулистого мужика с квадратной челюстью и короткой прической, по фамилии Шварценеггер. Фетисыч когда глядел на него, то напрягался и зубы скалил. Но на Шварценеггера он был не очень похож. Во-первых, девять лет от роду. Во-вторых, стричься было негде. Отчим Федор мудрил порою над ним с машинкой да ножницами, оставляя челку на лбу и голый затылок. Получалось не очень внушительно: челка светлых волос, вздернутый нос, круглый подбородок - далеко до силача. Но Фетисыч тренировался. В школе на турнике подтягивался на пятерки целых шесть раз.  
      Через комнаты глуховато, но слышно было, как ругается мать:  
      - Это вы вчера рамы с медпункта пропили? Доумились?  
      - Разведка доложила?  
      - Доложила. Вот участковый прищемит - назад потянете. Курочат все подряд. Все на пропой, на пропой. А нам край надо бы возле кухни затишку постановить, как у кумы Таисы. В затишку - печку. Летом так расхорошо, не жарко. И курник стоит раскрытый. Шифера бы листов пять или досок, хоть горбыля. Люди во двор тянут, для дела, а ты...  
      - Пузырь поставь - и к тебе притянем.  
      - Да уж все растянули. Свинарник какой расхороший был, сколь шиферу, сколь досок. А в клубе, говорят, и полов уж нет.  
      - Полов... Вспомнила. Уж потолки снимают.  
      - Либо Рабуны? Они же кухню строить задумали. Рядом живут. Хозяева. А у нас курник раскрытый.  
      - Пузырь. И все будет! - оживился Федор.  
      - Да если в дело, я два поставлю.  
      - Это уже разговор.  
      - Бесстыжий... Для дома, для семьи, а ты готов...  
      - Это не разговор, - перебил ее Федор.  
      - Разговор, не разговор. Засели, как баглаи. Только и глядите, где бы чего украсть и пропить. Нет, чтобы на ферму прийти да женам помочь, - корила Анна. - Бабы - в мыле, а мужики прохладничают.  
      - Вы задарма горбитесь - и мы пойдем рядом с вами. Коммунистический труд? Пошли они.  
      - Вот и пошли... А водку кажеденно глотать...  
      Укоры были те же, что и вчера, и позавчера, и всю долгую осень.  
      А у Фетисыча уроки были сделаны, можно и в школу отправляться. Хоть и рановато, но веселее там.  
      Через кухонную толкотню, где суматошилась мать, понемногу наливался похмельною злостью отчим, и лишь кудрявая Светланка жила своей детской счастливой жизнью. Через все это Фетисыч пробился быстро и выбрался на волю.  
      Уже пошел декабрь, но долгая поздняя осень, словно грязная злая старуха, бродила по хуторам. Низкие набухшие тучи, морося, ползли и ползли, а то и висели над хутором, цепляясь сизым провисшим брюхом за маковки старых груш. По теплу, по лету, хутор тонул в садах. Теперь же через голые ветви все насквозь было видать: от далекого Заольховского кута, который упирался в лесистое займище, до самого озера, с белым песком на берегу, с желтыми камышами. Весь хутор словно на ладони: серые нахохленные дома, сараи, базы, высокие сенники, просторные огороды. И тихо было на хуторе, пустынно: ни людей, ни машин. Одно дело зябкая слякотная осень; другое - работы нет. Свиней давно на мясокомбинат сдали, овец раньше продали, коров один гурт неполный остался. Тут еще плотницкую да кузницу на зиму закрыли. А дороги развезло, и хлеб печеный не возят. То хоть возле кузни да плотницкой с утра народ толокся, на бригадный наряд в контору ходили, потом у магазина собирались бабы да старики, ожидая хлеб. Нынче все по домам сидят.  
      От дома Фетисыча видна была и школа. Она лежала на въезде, вначале длинной, через весь хутор, улицы, по которой стояли бывшие клуб, медпункт, детский садик, почта, баня да магазины. Напрямую, дворами да проулками, до школы можно было добраться в два счета. Но обычно Фетисыч не спешил, выходя на улицу главную, мимо подворья многодетного Капустина, где день и ночь мотались на веревке детские штаны да рубашки. Фетисыч свистел, заложив пальцы в рот. И тут же во всех окошках появлялись расплющенные о стекло ребячьи носы. Шестеро детей было у Капустина. Старшей - девять лет, ребятам-двойняшкам - по восемь, дальше вовсе горох. Еще один свист раздавался возле дома Башелуковых, для первоклассницы Маринки с прозвищем Кроха. И все. Башелуковы жили на углу. Отсюда лежала по главной улице прямая дорога до самой школы.  
      За долгие годы улицу выездили, посередке тянулась глубокая лужа. Старый брехун Архип божился, что в разлив в эту лужу из озера карась заходит и можно его ловить. Лужа и летом не высыхала, зеленея. А уж теперь словно море была, топя заборы. Правда, заборов на главной улице почти не осталось. Дома казенные, брошенные, заборам ли уцелеть.  
      Всякий день на пути в школу Фетисыч наведывался в эти руины прошлого. Добро, что двери да окна в домах брошенных - настежь, а чаще чернеют пустыми глазницами.  
      В бывшем медпункте, где и теперь пахло лекарствами, Фетисыч садился в высокое блестящее кресло. Оно вращалось. Крутнешься раз-другой - и дальше пошел. Клуб еще год назад стоял на запоре. Нынче - все раскрыто. Сцену разобрали, выдрали полы. Дед Архип ободрал дерматин с кресел и шил из него чирики. Красный цвет, он приметный. Полхутора в этих чириках щеголяли. В бывшем магазине можно было залезть в большой холодильник, прикрыть дверцу - и вроде тюрьма. Там же лежал на боку тяжелый запертый сейф. Его курочили, но так и не открыли.  
      Хуторская школа - длинное дощатое здание на высоком кирпичном фундаменте - когда-то была восьмилеткой. Директор, завуч, завхоз, учителя... Школьники с трех хуторов сходились. Ныне старая учительница Мария Петровна пестала, кроме главного своего ученика Якова, трех Капустиных да Маринку Башелукову. В просторной школе топили одну печку на две комнаты: класс и еще одну рядом, под названием "спортзал", со шведской стенкой, трапецией да перекладиной. Уроки начинали по-своему, к полудню. Некуда было спешить.  
      Первым приходил Яков. Забирая ключ у технички, молоденькой тети Вари, которая напротив школы жила, он первым делом спрашивал:  
      - Натопила?  
      - Натопила, натопила... Иди проверяй, завхоз.  
      У школьного крыльца стояли корыто с водой и большой сибирьковый веник, чтобы сапоги отмывать. Хотя потом в школе и разувались, меняя обувь, но на крыльцо грязь не тягали. За этим Яков следил. Он был официально назначен старостой и помощником старой учительницы и в школе чувствовал себя свободней, чем дома.  
      Пустое длинное здание с длинным коридором встречало тишиной и гулким эхом шагов. Две комнаты с общей печкой были хорошо натоплены, в классе зеленели горшки с цветами, пестрели на стенах рисунки, аппликации да вышивки - детское рукоделье. Три светлых окна глядели на хуторскую улицу.  
      Яков проверил печку и, усевшись за учительский стол, стал ждать. Голоса Капустиных, как только вываливала орава из дома, звенели без умолку, приближаясь. Школьников у Капустиных было трое, но обычно прихватывали довеска - шестилетнего Вовика, который ревмя ревел, в школу просясь. А коли не брали его, то убегал из дому и приходил самостоятельно.  
      Шумно прибывали Капустины. Школа оживала. Вслед за ними, опаздывая, медленно поспешала первоклассница Маринка Башелукова - махонькая девчушка с большим красным ранцем за плечами. По теплому времени старые люди выходили глядеть на нее, когда она горделиво несла через хутор белые пышные банты на аккуратной головке. Глядели и вздыхали, вспоминая былое.  
      Так было и нынче. Яков через отворенную форточку приказывал:  
      - Сапоги чисто промывайте! Не тягайте грязь!  
      Собрались. Расселись за партами. Учительница Мария Петровна запаздывала. Как всегда в таких случаях, Яков открыл журнал посещаемости.  
      - Башелукова.  
      - Здесь, - тонко пискнула девчушка, поднимаясь. Она всегда была с белыми бантами в косичках, с белым отложным воротничком - словно городская первоклассница.  
      - Капустина.  
      - Здесь.  
      - Капустин Петр... Капустин Андрей.  
      - И я здесь, - отметился Капустин-младший, довесок.  
      В журнал его не положено было записывать, а хотелось - как все.  
      Марии Петровны не было. Яков решил сбегать к ней. Но прежде, чтобы не теряли зря времени, он дал задания: кому примеры, кому упражнения. А малышу Капустину вручил лист бумаги и велел рисовать. Все это было для Якова делом привычным. Старая учительница порой хворала, порой уезжала к дочери в райцентр, оставляя надежного помощника - Фетисыча. Он старался.  
      А жила учительница недалеко, в старом домишке, в каком жизнь провела. Яков отворил калитку и сразу почуял неладное: настежь были открыты все двери - коридорная, кухонная, сарая.  
      - Мария Петровна! - заглядывая в дом, позвал Яков.  
      В доме горел свет. Но никто не ответил.  
      - Мария Петровна! - окликнул он во дворе.  
      Старая учительница была в сарае. Она стояла навалившись на угольный ящик. В полутьме Яков не сразу ее заметил, а потом бросился к ней:  
      - Мария Петровна...  
      Учительница была мертва и стала валиться на мальчика, как только он тронул ее. Яков с трудом, но не дал ей упасть. Ледяная рука, окостеневшее тело все сказали ему. Он прислонил мертвое тело к стене сарая и бросился вон.  
      Потом, когда к учительнице поспешили взрослые, он издали глядел, как ее заносят в дом. Он поглядел и пошел к школе. Он чувствовал, что озяб. Пробирала дрожь. У крыльца, отмывая в корыте грязные сапоги, он решил, что о смерти учительницы в классе говорить сейчас не станет. "Про уроки забудут, - подумалось ему. - День пропал, его не вернешь", - повторил он слова учительницы. И еще что-то, более важное, останавливало его: он не до конца поверил в смерть, какая-то последняя надежда теплилась - может, еще оживет.  
      В классной комнате было тепло, зелено от цветов и все - за партами, даже Капустин-младший.  
      Обычно, когда учительница, уезжая, оставляла Якова старшим, ребятишкам под началом его приходилось туго. Старался Фетисыч. Лишний раз не скажи, перемены - короче, точно в срок. Но нынче в тягость была чужая ноша.  
      Братья Капустины примеры по математике решили, и Яков добавил им еще одно упражнение. Маринка Башелукова, Кроха, тихо окликнула:  
      - Яша... У меня кончилось.  
      - Что у тебя кончилось?  
      - Букварь.  
      Яков подошел к ней. Все верно. Мария Петровна твердый знак с ней прошла. Хитрые слова "сел" и "съел". И как это бывало ранее: сначала с ним, в прошлом году - с братьями Капустиными, - Яков сказал громко, повторяя слова учительницы:  
      - Давайте все вместе поздравим Марину. Она закончила свою первую книжку-букварь. Молодец, Кроха. Поздравляем тебя! Теперь ты человек грамотный.  
      - Ура-а!! - вылетели из-за парт братья Капустины - невеликие, крепенькие, горластые.  
      - Ура! - поддержал их младший Капустин.  
      - Перемена! - объявил Яков. - Десять минут, - и первым было кинулся в класс соседний - спортзал, чтобы кольца занять и покувыркаться. Но опамятовался, когда старшая Капустина, его одногодка, тоже Марина, спросила:  
      - Яша, а Мария Петровна не придет?  
      - Не придет.  
      - Я к ней схожу. Может, сварить надо. Ладно?  
      Марина Капустина - старшая дочь в большом семействе - в девять лет уже хозяйкой была, помогая в делах домашних и учительнице, когда та хворала. Добрая девочка, рослая, чуть не на голову выше Якова, ровесника своего.  
      - Подожди, - остановил ее Яков, - уроки кончатся.  
      К перемене второй, "большой", как ее называли, на горячую плиту печки ставили чайник, а в жаркий духовой шкаф - блинцы ли, пышки, пироги - кто что из дома принес. Чайник запевал свою нехитрую песнь, закипая, и кончался второй урок. Накрывали клеенкою учительский стол и рассаживались вокруг. Так было всегда. Так было и нынче: пахучий чай с душицей, зверобоем да железняком. Варенье - в баночках. Домовитая Марина Капустина, словно добрая мамка, всем поровну делит:  
      - Тебе - блин, тебе - блин, тебе - блин, тебе - сладкий пирожок, тебе - пышку с каймаком. Ты же каймак любишь...  
      - Люблю, - тихо призналась Кроха. - У нас тоже Катька не ныне-завтра отелится.  
      - Когда отелится, гляди, ничего из дома не давай три дня, - наставительно сказала Марина-старшая. - А то узнает ведьма и загубит корову. Для них коров губить - первое дело.  
      - А кто у нас ведьма? - так же тихо спросила Кроха, теперь уже пугаясь.  
      - Раньше Карпиха ведьмачила, - ответил Яков.  
      - Карпиха, - подтвердила Марина-старшая. - Мамка рассказывала. Летось корова отелилась и мычит, бесится, куда-то рвется. Позвали деда Архипа, он в этом деле понимает. Архип молозиво на сковороду и - на огонь. Помешивает и молитву читает. А мамке приказал: "В окно гляди. Кто пройдет мимо и его будет корежить, это - ведьма". Мамка глядит, точно, идет Карпиха и ее вправду корежит: то остановится, топчется, то кинется назад, то опять ко двору. Как кружёная овца. Значит, точно она.  
      Кроха слушала, про пышку и каймак забыв; зато братья Капустины под разговоры полбанки варенья опорожнили, накладывая кто больше, пока сестра не пригрозила им.  
      - Карпиха точно ведьмачила, - подтвердил Яков. - Она и померла по-своему. В самую пургу ушла к ярам. Туда ее черти призывали. Там и померла.  
      - А теперь кто у нас ведьма? - спросила Кроха.  
      - Кто-нибудь да есть, - твердо ответил Яков. - Надо приглядывать. Ведьмы грома боятся. Порчу наводят. В свежий след сыпет и приговаривает. И человек ли, скотина сразу на ноги падает. Ведьма в кого хочешь обернется. Вот тут, - показал он на печку, - на загнетке, на ножах перевернется - и в другой облик. Захочет в белого телка, или в рябую свинью, или в зеленую кошку. А через черную кошку, - добавил он, всякий может невидимым стать. Хоть я, хоть кто другой. Рядом пройду, и ты меня не увидишь.  
      На него воззрились удивленно.  
      - Надо поймать черную кошку, но чтобы жуковая была, без подмесу, учил молодых Яков. - Посеред ночи поставить казан на перекрестке, костер развести и варить ее. Да, кошку. Лишь по сторонам не гляди, а в котел. Вся нечистая сила слетится, будет шуметь, свистеть, кричать по-звериному. Не оглядайся. По имени тебя будет звать, вроде мамка твоя зашумит: "Петя!" А ты не оглядайся. Оглянулся - конец, - предупредил Яков. - А ты вари и помешивай, вари и помешивай. Нечистая сила вокруг воет, ревет, а ты свое дело делай. Останется в казане лишь малая косточка. Ее надо ощупкой, не глядя брать. Берешь и кладешь меж губ. Сразу тихота настанет. Нечистая сила - по сторонам. А ты сделаешься невидимым. Вовсе невидимым. В любой дом заходи, куда хочешь. И тебя не увидят.  
      - А у деда Архипа черная кошка, - сообщил самый младший Капустин-"довесок".  
      - Точно! - в один голос подтвердили его братья и переглянулись.  
      - Это все неправда, - поняв их мысли, сказала Марина-старшая. Неправда ведь, Яша?  
      - Старые люди говорят... - пожал плечами Яков. - Перемена кончилась, - объявил он. - Давайте по местам.  
      Снова пошли уроки. Яков словно забыл о смерти учительницы: непросто было глядеть за ребятами, давать им задания, объяснять, да и свое делать. После третьего урока Яков сказал Крохе:  
      - Марина, можешь домой идти.  
      Но Кроха, как всегда, отказалась. И стала готовить домашнее задание на завтра. В школе было веселее, чем дома. В куликалки будут играть, прячась в пустых классах. Может, картошку напекут.  
      А за окном тянулась поздняя осень. Дождь временами переставал, а потом снова сеялся, и тогда затягивало серой невидью высокий курган за хутором, крутую дорогу через него. Лежала под окнами пустая улица, за ней - вовсе пустое поле на двадцать пять верст до центральной усадьбы, станицы Ендовской. А в край другой, через займище, десять километров до богатого хутора Алешкина, который при асфальтовой дороге стоял. Но те десять километров были длиннее: лежало поперек пути лесистое займище, да две глубокие балки - Катькин ерик и Кутерьма, да еще речка нравная - Бузулук. Будто и рядом хутор Алешкин, но брызнет дождь - на тракторе не проедешь, зимой в снежных переметах утонешь. А тут еще объявились ненашенские, с рыжим подпалом, волки, вроде из Чечни прибежали. Там стреляют, вот они и подались, где потише.  
      Про чеченских волков говорил не только старый брехун дед Архип, но сам лесничий Двужилов. Он видел этих волков не раз: поджарые, с рыжиной на брюхе.  
      И когда неделю спустя Яков надумал идти в хутор Алешкин, мать пугала его:  
      - По такой погоде... Черти тебя поджигают. Тем более - волки. Чеченские... Враз голову отхватят.  
      Яков стоял на своем:  
      - Пойду. Десять километров. Обернусь к обеду. Там наша Галина Федоровна, она всех знает, она найдет нам учительницу. А то так и будем сидеть.  
      - Натурный... - ругалась мать. - Бычок упористый... Потонешь в Катькином ерике... Там вода верхом идет. Переждал бы дождь... Люди поедут, я поспрошаю.  
      Яков слушал ее, но сделал, как всегда, по-своему: он ушел рано утром, лишь засерело. Поверх пальто от дождя натянул старый материн болоньевый плащ. И пошагал. А от волков отчим Федор дал ему две ракеты. Дернешь за шнурок - она стрельнет.  
      От хутора, мимо фермы, напрямую до самого займищного леса Яков продвигался вприскочку: пробежит - и пойдет потише, снова пробежит - и опять отдыхает на ходу. Нужно было скорей добраться в Алешкин, поговорить и успеть вернуться в свою школу, к ребятам, которые будут ждать его.  
      Хоть и умерла Мария Петровна, но каждый день в школу сходились. Выбирался Яков из дома, свистел возле Капустиных и Башелуковых. Техничка тетя Варя топила печь. И уроки шли, как и раньше: по расписанию, с переменами. "Чем по домам сидеть, лучше в школе, - так Яков решил. - А то пропустим, нам же и догонять". Все было как прежде, лишь без Марии Петровны. И нужно было искать ей замену.  
      Дорога была не раз хоженная и езженная: займищный лес, который то подходил к обочинам, и тогда остро пахло горькой корой и листвой, то отступал, пропадая в серой невиди. Порою вспархивали почти из-под ног куропатки с обрывающим сердце треском. И снова - тихо, угрюмо. Лишь дождевые капли шуршат по плащу. В пору погожую, хоть и колесит дорога, обходя низины да мочажины, хутор Алешкин виден издали на высоком берегу. Теперь - лишь серая мга, короткий окоем. Бурые травы, угрюмая зелень сосняка, раскисшая, налитая водой дорога, скользкие обочины долгим кажется путь. И грезится всякое: какие-то серые тени в вербовой гущине, колыхнулись - и холодок в груди. Ищет рука картонный кругляш ракеты. Может, волки?..  
      Опять колесит дорога. Нынче ее не спрямишь, шагай и шагай. То обочиной, то колеей, выбирая, где легче.  
      \* \* \*  
      Школа в Алешкине стояла посреди хутора, на речном берегу. Поднялся на бугор - и вот она: кирпичная, с высоким строением спортзала. При входе - раздевалка, а возле нее сидит уборщица и платок пуховый вяжет.  
      - Ты куда? - сразу признала она чужого.  
      - К Галине Федоровне.  
      - Она на уроке. Лишь начался урок, - сказала уборщица и воззрилась на сапоги пришедшего.  
      Но сапоги Яков до блеска отмыл у входа, придраться не к чему. Лишь с плаща капало.  
      - А вызвать ее можно? Я по делу.  
      - И она не гуляет. Жди, - постановила уборщица.  
      Коридор алешкинской школы был просторный и нарядный: много зелени, на стенах большие стенды с фотографиями. Но ждать было не с руки. Урок - чуть не час, а дом Галины Федоровны - рядом. Туда Яков и подался.  
      Старая баба Ганя признала его и встретила, как родного:  
      - Моя сынушка... Откель? Весь промок. Либо пешки?  
      - Пешком, баба Ганя, пешком.  
      Баба Ганя не изменилась, той же живостью светили за стеклами очков глаза.  
      - Ты либо с матерью пришел, в магазин?  
      - Один, баба Ганя. Мне Галина Федоровна нужна.  
      - Скоро надойдет она. Кончится урок, надойдет. Раздевайся. Сушись. Грейся у печки. А я скотине задам, будем завтракать.  
      - Я помогу, - сказал Яков и, не дожидаясь согласья, снял с вешалки рабочую телогрейку. - Ты лишь говори, баба Ганя, где у вас чего...  
      - Моя сынушка, да ты прямо хозяин... - поспешая за молодым помощником, нахваливала баба Ганя.  
      Якову же домашние заботы были в привычку: курам - зерна, корове да козам - сена, свиньям - запаренного корма. Тем более что подворье директорши было устроено: не плетневые катухи, а кирпичные, под шифером стойла в один ряд. Вода - из крана. Сенник, закрома, скотья кухня – все рядом. И не лужи да грязь на базу, а бетонные дорожки. Так что труды были невеликие. Управились скоро.  
      Баба Ганя накрывала на стол, а Яков дом успел осмотреть, комнаты его: кабинет с книжными полками во всю стену, горницу с креслами и диваном, с телевизором и видиком.  
      За завтраком он выкладывал старой женщине хуторское:  
      - Тетка Варя и бабка Наташа живые. Дед Андрей в больнице лежал, на станции. Но еле ходит. А Мария Петровна наша померла, - сообщил он главную новость.  
      - Какая беда... Да как же...  
      К той поре поспела и директорша школы, Галина Федоровна. Услыхав о смерти учительницы, она даже всплакнула:  
      - Господи... Как мы ее любили... Так вас и пестала до последнего. А схоронили где?  
      - В райцентре, дочка забрала, - сказал Яков и повернул на свое, ради чего и шел:

- Она померла, а мы остались ни с чем. Пятеро учеников: трое Капустиных, Башелукова, я. А учить нас некому. Может, вы нам поможете, найдете учительницу?  
      Завтракали и слушали Якова.  
      - Как она померла, сообщили в сельсовет, оттуда в районо. Там велели перевести нас в Ендовку, на центральную усадьбу. Мы и поехали туда с дядей Витей Капустиным. У него трое в школу ходят, и Вовке на тот год идти. Поехали. Трактором едва добрались. Думали в интернат устроиться. Там большой интернат, двухэтажный. А его закрыли.  
      - Сейчас их везде закрывают, - вздохнула Галина Федоровна.  
      - Закрыли и там. В школу нас берут, пожалуйста. А как добираться? Колхоз не будет возить. Горючего нет, и вся техника поломана. Говорят, становитесь по квартирам. А квартиры в Ендовке - с ума сойти. Сдурели хозяйки. По сто тысяч требуют. Капустин как услыхал, за голову схватился. Он где такие деньги возьмет? Тем более за троих. Опупеть можно. У него зарплата - сто тысяч не выходит. И тех не дают с лета. Плюнул. Пусть, говорит, дома сидят. А Маринка Башелукова, та и вовсе - кроха. Куда ее отпустят родители? Она у них одна при двух бабках. Те сразу с ума сойдут. Вот и все... И как хочешь... Учительницу бы нам найти, попросил он.  
      Галина Федоровна, оставив еду, слушала. Она была еще молодая, но полная, при золотых очках, коса на голове короной - настоящая директорша.  
      Возле дома затарахтел мотоцикл и смолк.  
      - Отец наш приехал, - объявила Галина Федоровна. - Завтракать.  
      - Галина! - раздался из коридора голос. - Я пойду со скотиной управлюсь. Ты не давала им?  
      - Нет.  
      - Управились мы, управились в четыре руки с помощником, - горделиво сообщила баба Ганя. - Накормили и напоили.  
      - Молодцы! Кто у тебя в помощниках?  
      Муж у Галины Федоровны был тоже нестарый, но при черной бороде - по новой казачьей моде.  
      - Это чей такой? Либо землячок?  
      - Угадал.  
      - Спасибо, земляк. Мне легче жить.  
      - Предлагаю вам красную лампочку ввернуть в курятник, - сказал Яков. - Я в журнале читал, в "Науке и жизни". Куры лучше несутся при красном свете.  
      - О! - удивилась Галина Федоровна. - В "Науке и жизни"? Надо попробовать.  
      - Ввернем, - пообещал ей муж. - Какие еще будут предложения по ведению хозяйства?  
      - Козам пора гречишной соломы понемногу класть, - шутки не принимая, сказал Яков. - Скоро пух щипать. От гречишной соломы коза пух хорошо отдает.  
      - В журнале, что ли, прочитал?  
      - Дед наш всегда так делал. А без гречишной соломы потом трудно пух щипать.  
      - Правильно гутарит, - поддержала баба Ганя. - Делали так.  
      - Что ж, привезем гречишной соломы. А то ведь и вправду щипать их несладко.  
      Отзавтракали. Хозяин присел на корточках возле устья печки, подымить. Якову сварили напоследок кружку пахучего какао, печенья да пряников положили.  
      - Мария Петровна умерла, - сказала мужу хозяйка. - Школу у них закрывают. Нет учителя. А у нас в Филоновской никого нет? - задумчиво спросила она не столько мужа, сколько себя. - Татьяна Петровна на пенсии, она не пойдет. Надо из молодых. Тамара Максимова в Михайловке в педучилище, на каком курсе? Ее мать как-то спрашивала меня про место. Надо поговорить с ней. У них отца нет, сестренка младшая. На заочное можно перейти и работать.

 - Не могла наша Петровна чуток потерпеть, - со вздохом попенял Яков. - Конечно, старая. Но хоть бы до зимних каникул доучила. А не... Неделя прошла. Так и месяц пройдет, и зима. На второй год оставаться?  
      Так искренне было это мальчишечье, детское огорчение, что баба Ганя пожалела:  
      - А ты живи у нас. Школа - рядом. И мне будет с кем погутарить.  
      Предложение было неожиданным. Яков вскинулся и поглядел на Галину Федоровну и мужа ее.  
      - Живи, - подтвердил приглашение хозяин. - Лампочку красную в курятник ввернем, куры усиленно занесутся, харчей хватит. - Ему понравился этот мальчишка. Свои сыновья этой осенью в город уехали: старший - в институт, младший - в техникум. Стало в доме непривычно пусто. Живи, - повторил он.  
      Мальчик не мог ничего ответить, лишь глядел на Галину Федоровну, понимая, что последнее слово за ней. Она поняла его, сказала мягко:  
      - Живи. Комната свободная есть. С матерью я поговорю.  
      У Якова сердчишко колыхнулось от неожиданной радости. Поселиться в доме директорши, учиться в настоящей школе со спортзалом, где и зимой в футбол играют. А уж народу там... Школа своя вдруг увиделась в настоящем свете: пустой дряхлый дом со ржавою крышею, один-разъединый класс, Капустины да Кроха. Алешкинская школа - дворец. А дом Галины Федоровны... Это не пьяный да похмельный отчим да мать с ругней: "Замолчи... Прикуси длинный язык..." Здесь - книг полная комната, все стены в полках.  
      - Я обещал к обеду вернуться, - сказал Яков. - Мамка ждет.  
      - Конечно, конечно, - одобрила Галина Федоровна. - Сходи. Матери скажи. Я напишу ей записку. - И мужа попросила: - Ты куда едешь? Может, подбросишь его?  
      - До хутора не пробьюсь. Через ерики не пройдет мотоцикл. Там круто и развезло теперь.  
      - Не пройдет, - подтвердил Яков.  
      - Но до ерика довезу. Собирайся.  
      До Катькиного ерика - глубокой, с крутыми склонами балки с мутным ручьем по дну - могучий мотоцикл "Урал" докатил быстро. А далее, перебравшись через ерик, Яков словно на крыльях летел. Ни дождь, ни грязь не были помехой. Дорога к хутору была уже дорогой к новому, к завтрашнему, дню, когда он уйдет в Алешкин, в тамошнюю школу, к Галине Федоровне.  
      По-прежнему моросило. В займищном голом лесу было тихо. Даже воронье убралось к жилью человеческому, к теплу. До ночи, до своей поры дремали на лежках сытые кабаны. Рыжий, уже выкуневший лисовин, издали заметив мальчика, замер и, не таясь, переждал, пока он пройдет. Пара тонконогих косуль легкими скачками ушла от дороги. По мокрой земле и листве скачки были бесшумными. Мелькнули белые подхвостья - и нет их.  
      Яков по сторонам не глядел. Он на хутор спешил, где ждали его.  
      Через дом родной он промчался, не успев похвалиться. Мать с отчимом на базах управлялись со скотиной. Ухватив сумку, Яков подался в школу, гадая: как там без него? И если в долгом пути на хутор ничто не омрачало нежданно свалившегося на него счастья, то теперь пришло на ум иное: он уйдет, а Капустины с Крохой останутся. Что будет с ними? И что со школой? Радость гасла. А уж о том, чтобы в школе похвалиться, и вовсе не стоило думать. Молчать надо было до поры. Но до какой?  
      В классе все были на месте и, будто за делом, ждали, что скажет он.  
      - С Галиной Федоровной повидался, - доложил Яков. - Обещала найти учительницу. Есть у нее на примете. - И разом перешел к учебным делам:

- Кто должен заполнять настенный календарь природы? Капустины, ваша обязанность? Почему не заполнили? И разом давайте тетрадки по природоведению. Задано было: живая и неживая природа зимой. Жизнь домашних животных, жизнь диких животных, труд людей... Все вопросы страницы пятидесятой и пятьдесят первой. У Маринки погляжу домашнее - и вас буду проверять и спрашивать. Надо учиться, а не сидеть зря. Придет новая учительница, а все отстали. А цветы не политы, - попенял он старшей Маринке. - Совсем свяли. Вон в алешкинской школе сколько цветов... Они не забывают.  
      Ворчливым упрекам своего старшего ребята даже обрадовались. Без Якова было пусто. А теперь по-прежнему все пошло: класс, уроки, строгий Фетисыч, словно смерть учительницы ничего не изменила в их жизни.  
      - А что отмечать? - забурчали братья. - Дождь да дождь.  
      - Вот и отметьте условным знаком дождь и температуру проставьте.  
      Легко поднялась старшая Капустина, стала поливать цветы. Затаив дыхание дожидалась у раскрытой тетрадки с домашним заданием первоклассница Кроха. Ждала, когда Яков подойдет к ней и сядет рядом. Все пошло по-обычному.  
      Но гость редкий, нежданный - колхозный хуторской бригадир Каледин уже обмывал возле крыльца сапоги. Из класса его увидели - и стали ждать.  
      А бригадир вначале обошел школу, пустые ее комнаты, где стояли столы и скамейки, висели на стенах портреты писателей да ученых, настенные планшеты, стенды: "Наши отличники", "Колхозные ветераны", "Они защищали Родину". Каледин когда-то учился здесь, и дети его через эти стены прошли, а с фотографии глядели лица знакомые. Кто-то теперь повзрослел, постарел, а кто-то и умер. Но жили вместе и долго.  
      Наконец бригадир пришел в класс. Навстречу ему поднялись все разом.  
      - Сидите, сидите, - махнул он рукой и похвалил: - Тепло у вас, хорошо. Цветки цветут.  
      Он снял долгополый намокший плащ, телогрейку, оставшись в пуховом, домашней вязки, свитере. Яков было пошел от учительского стола к своей парте, но бригадир остановил его:  
      - Сиди. Ты же теперь за старшего. Учитесь? - спросил он.  
      - Учимся, - ответили нестройно.  
      Бригадир был человеком суровым, немногословным, его в хуторе боялись.  
      - А может, вам у Башелуковых собираться? - спросил он. - Хата большая, теплая, и они не против.  
      У Якова перехватило дыхание.  
      - А библиотека? - бледнея от волнения, показал он на шкафы с книгами. - А наглядные пособия? А уроки физкультуры? Комиссия какая приедет, и будем не числиться. А беженцы, какие места ищут? Подъехали. Есть школа? Вот она, - убеждал он бригадира. - Значит, можно жить. А увидят замок - и развернутся.  
      - Верно, верно... - успокоил Якова бригадир. - Это я так, попытал... Будет Варя топить, приглядать. Дров напилим. А там учительницу найдем.  
      Бригадир и в прежние годы не больно разговорчивым слыл, а ныне, когда все вокруг прахом шло, он и вовсе стал молчуном. На людей не смотрел, ходил - "роги в землю". Но здесь, в школьном классе, глядя на ребятишек, на кипенно-белые банты в косичках крохотной Маринки Башелуковой, он как-то оттаивал, теплело на сердце. И ничего ребятишки от него не требовали, как все иные: ни работы не просили, ни денег, а просто глядели на него. И было приятно.  
      Карапуз Капустин вылез из-за парты с листом бумаги, не торопясь подошел к бригадиру и показал ему свое художество, сообщив:  
      - Это я сам нарисовал.  
      - Здорово... - похвалил бригадир, разглядывая рисунок с цветами, деревьями и красным трактором.  
      Отогревшись, он стал одеваться. На прощание Якову руку пожал.  
      - Держись, Фетисыч. Учительницу найдем. А пока на тебя надёжа.  
      Он ушел. На воле по-прежнему моросил дождь и не было просвета. В окне класса желтел электрический свет. Он помнил, как два года тому назад закрыли детский сад. Но целых два месяца, пока не настали холода, ребятишки собирались в пустом доме, играли. Они ведь привыкли гуртом, словно телята.  
      В школе ребята, как обычно, пробыли четыре урока, потом все вместе ушли, расходясь не сразу. Проходили не улицей, а через разбитые дома, что тянулись вдоль улицы. На воле - дождь. А там, хоть и окон-дверей нет, а потолки еще целы, не каплет. Покрутиться на вращающемся железном кресле в медпункте, залезть в глухую пещеру пустого холодильника, что стоял в магазине. А в клубе поиграть в прятки, хоронясь в будке киномеханика, в библиотечной комнате, в длинном коридоре. Помаленьку, но приближались к хатам своим.  
      Вернувшись домой, Яков вдруг понял, что день кончается, а все осталось как прежде: ни матери не сказал, ни ребятам, что уходит в Алешкин. С матерью было легче. А вот с ребятами...  
      Дома все было как обычно: тихая Светланка, не пьяный, но крепко выпивший отчим, потом с фермы вернулась мать.  
      У Якова позади лежал долгий день, и его морило, тянуло ко сну. Он прилег, чтобы вздремнуть, и разом уснул, мать его с трудом растолкала к ужину. За столом он сидел молча.  
      - Тебя ныне бригадир видел? - спросила мать.  
      - Он в школе у нас был.  
      - Охваливал тебя. На ферму пришел, не ругался. Либо выпил чуток... Мы к нему приступом, а он головой покачал: "Бабы, бабы, - говорит. - Я бы сам закричал по-пожарному и убег не знаю куда..." Тебя по двух раз похвалил... - И вдруг она вспомнила главное: - В Дубовке колхоз распускают. Районное начальство приехало, говорят, все, забудьте про колхозную кассу, расходитесь и сами об себя думайте. Спасайтесь своими средствами.  
      - И правильно, - одобрил Федор. - Поделить все.  
      - Вы уже поделили... Шалаетесь, как бурлаки... Все тянете. Колхоз хоть плохой плетешок, а все - затишка. Обещают овечками выдать зарплату. Может, дадут...  
      - Куда этих овечек. Сено травить?  
      - Резать да на базар.  
      - Сама повезешь.  
      - А вот Виктор Паранечкин возит. Берет у людей по дешевке и везет, торгует. Паранечка им не нахвалится.  
      - Перо ему в зад. А мне гребостно на базаре стоять. Мне лучше сутки в тракторе, безвылазно... Чем стоять кланяться всем.  
      - А шалаться - не гребостно...  
      Для Якова эти разговоры были известными. Кончались они одним - ругней. От стола он ушел к телевизору, потом возил маленькую сестру на закорках, изображая коня. Ржал он по-настоящему, на всю хату. А потом снова потянуло его ко сну.  
      Он уснул и проснулся уже ночью, во тьме. Словно ударило его. Он видел во сне день прошедший: школа в Алешкине, директорша Галина Федоровна, бородатый муж ее, баба Ганя. Вроде виделось доброе, а проснулся в испуге. Они ведь ждать его будут, а он не придет. Прийти он не мог, потому что нельзя было оставить свою школу. Тогда там все кончится, рухнет. Не будет уроков, повесят замок, цветы померзнут. А через неделю - это Яков знал точно - школу разгромят. Сначала вынут стекла. Говорят, они дорогие. Потом снимут двери, окна выдерут. И пойдут курочить. Первое время - по ночам, таясь. А потом среди бела дня, наперегонки, кто быстрее успеет. К Новому году от школы останется лишь пустая коробка с черными проемами. Так растаскивали клуб, детский садик, медпункт. Так будет и со школой.  
      Без него все пойдет прахом. Ни Марина Капустина, ни братья ее, ни тем более Кроха без Якова ничего не смогут. Лишь он знает, как тетради проверять, ставить отметки. Его Мария Петровна учила.  
      То, что прежде было гордостью мальчика, стало вдруг горем. Потому что нельзя было уйти в Алешкин, к Галине Федоровне. И от бессилья что-либо изменить Яков заплакал. Он плакал редко. "Бычок упористый..." - говорила мать. А теперь хлынули слезы, и казалось, не будет им конца. Горячие, волна за волной, они накатывались из груди. И мальчик плакал и плакал, пока не уснул.  
      Снова снилась ему школа, теперь своя, но такая похожая на алешкинскую: с просторными светлыми коридорами, с плетучей зеленью по стенам и потолку, со стеклянной оранжереей. И будто он, Яков, вел по школе и показывал ее своей старой учительнице, Марии Петровне. Учительница ахала, удивлялась и хвалила Якова: "Молодец..." А вокруг шумела детвора. Много ребят. И за стенами школы, на хуторской улице, было людно. Просто кипел народ, как на базаре. Голова от людей кружилась. А Мария Петровна все хвалила Якова и хвалила: "Молодец, молодец..." - и гладила его по голове горячей ладонью. Было сладко на душе от этих похвал, слезы подступали. И Яков не сдержался, заплакал. А горячая ладонь гладила голову мальчика и лицо, вытирала слезы, и добрый голос шептал и шептал: "Ну чего ты, сынок... Ну чего ты плачешь... Ну проснись, не плачь..." И горячие слезы сушили слезную влагу.  
      Это мать, сердцем почуяв тревогу и боль, услышала и пришла, сидела на краю постели сына и не хотела резко будить его, боясь испугать, и шептала:  
      - Я здесь, мой сынок... Не плачь... Ну не плачь...  
      А за окном менялась погода. С вечера прежде обычного смерклось. Дождь пошел сильнее, гулко барабаня по крышам. Но с вечера же явственно потянул холодный северный ветер. И вдруг в ночи застучала по окнам ледяная крупа. Не та снежная, белая, словно пшено. А ледяная склянь. Это шел дождь и замерзал на лету. Секло и секло по окнам, словно шрапнелью. А потом пошел густой снег. К утру насыпало его по колено.  
      К рассвету прояснилось. Заря вставала уже зимняя, розовая. Хутор лежал вовсе тихий, в снегу, как в плену. Несмелые печные дымы поднимались к небу. Один, другой... За ними - третий. Хутор был живой. Он лежал одиноко на белом просторе земли, среди полей и полей.

Борис Петрович Екимов

ХОЛЮШИНО ПОДВОРЬЕ

Рассказ

1

На рождество с Холюшиного подворья увели двух ярок да большого пухового козла, с него на четыре платка за раз начесать можно было. Козла-то с база забрали, но далеко не повезли, освежевали считай что на месте. Тушку оставили хозяину и на высокий заборный кол надели страшную козлиную голову. Холюша на утро следующего дня обошел свое хозяйство и, не скупясь, по старинному обычаю, оберегая дом и худобу от недоброго глаза, каждую самую малую дверцу и окошечко, каждую щелку меловым крестом оберег. А у него было, было что беречь.

Лежало Холюшино подворье на краю хутора. Приземистый круглый дом под жестью - когда-то лучший в Вихляевском - сейчас одряхлел и понемногу уходил в землю, топорщась рогатой телевизионной антенной. Спереди, от красного крыльца, и сзади, от чуланов, громоздились друг за дружкой базы, сараи, кухни и другие постройки. И, смыкаясь, ровным четырехугольником обступали они просторный двор. А на базах не ветер шумел, а жила и плодилась скотина: добрая корова-ведерница, от нее же телка-двухлетка, летошний бычок зимовал, нагуливал мяса; на козьем базу хрумтели сенцом десяток коз да козел Ерема, а с ними шесть овечек. Мирно похрюкивали подсвинки. Два десятка гусынь днями вперевалку бродили по двору или серыми валунами лежали на грязном снегу. Распускали жесткие хвосты и крылья, чуфырились два индюка, наливались кровью, а временами лениво бились перед добрым табунком сытых, подбористых индюшек. Здесь же галдели утки, греблись куры, которых стерегли два петуха, белый и рыжий. Меж собой петухи ладили - сударок хватало, чужих били в кровь.

На забазье чернели высокие пирамиды друг к дружке прислоненных жердей, по-местному - костры. Там же высился добрый скирд сена. Ниже лежал огород, наверное, самый большой в хуторе. За ним, на обережье, старый сад с покосом. Уж ему-то равных не было во всей округе.

Просторное Холюшино поместье слева и в задах дугой окаймляла невеликая речка. Подле самого дома она разливалась широким плесом. Его так и звали Холюшин плес. С весны до осени стоял здесь содомский галдеж: сотни птиц, гусей и уток жили тут и кормились.

Еще недавно, лет пять назад, а может, и десять, все долгое лето бродила по мелкому плесу горбатая усохшая старуха с хворостиной, в подвязанной юбке. Это была мать Холюши, она обычно птицей занималась. Но теперь мать умерла, и жил Холюша один. И он уже не поминал, и редко кто на хуторе помнил, что прежде жили в этом подворье Вихлянцевы, крепкая семья: отец, мать, трое сыновей и дочь. Это с тех времен и стоял круглый дом под жестью, остатки тех просторных базов, катухов да сараев. Сад и покос, огород, просторный плес были еще тех времен, далеких-далеких. Но сколь много вмещается в долгую человечью жизнь: две большие войны, скитания вдали от родного дома в гиблых песках и много другого, несладкого, но помельче, которого уж и не держит память.

И сейчас на хуторе, в старом вихлянцевском доме, жил Холюша, по паспорту Варфоломей Вихлянцев, инвалид с деревянной ногой, семидесяти лет от роду.

Теперешняя зима выдалась доброй. После рождества еще снежку подвалило, а с крещенья небо разьяснело и встали морозы. По утрам, спозаранку, придавая холоду, стылым светом светил иверень луны. Румяное от мороза солнце поднималось нехотя, высвечивая розовым ровнехонькие и высокие столбы печных дымов. А под вечер оно сдобным колобом валилось в желтый густой морозный туман и пропадало до утра. И всю долгую ночь праздничным царским платом полыхало над стылой землей огнистое небо. Играло и полыхало, словно в единый остатний раз. А поутру, прежде ленивого солнца, поднималась белая ледянка луны, чтобы добрым людям легче было на базу управляться. А чуть позднее у кузни, на огромном жестяном противне, механизаторы зажигали солярку. Большое багровое пламя лениво колыхалось. Черный густой дым тучей висел над округой. Стояли крещенские холода, по закону.

В один из таких морозных дней чистил Холюша коровий баз. Короб на легких деревянных санках доверху нагрузил и потянул его в огород, к навознице. Полдороги прошел и вдруг остановился: путь ему пересекал чужой след. Постоял над ним Холюша, подумал: "Кто же тут шалался?" Потом поспешно санки к навознице отволок, опорожнил их и вернулся назад.

След был человеческий. И недавний. Вчера его тут не было. Холюша пошел по следу. "Может, кто из соседей? Может, Мишка? - лихорадочно думал он, и взгляд его бежал по цепочке следов. - А может, пьяный кто? Заблудился?"

Следы вели прямиком к базу, к городьбе. Не к даму, и не к задним, огородным воротцам, а просто к городьбе. Вот постоял человек, потоптался, двинулся дальше. Вот в сторону отошел - это Цыган его пугнул. Холюша поднял голову.

Черный кудлатый кобель Цыган, вскинувшись на плетень, внимательно глядел на хозяина.

- Гости у нас были, - сказал ему Холюша.- Ночью, видать... Кто был? Скажи.

Цыган зевнул, клацнул зубами, ничего не ответил.

- У-ух, глупомордый...

Ночной гость отошел от плетня, Цыгана, видно, напугавшись, и чуть подалее, у козьих катухов, снова подошел ближе. Так, об самую стенку, он и пробрался до угла. А затем вернулся, но не прежним ходом, а напрямую подался, к сеннику, и шаг его был шире. У сенника следы сошлись, здесь было натоптано, словно еще один человек стоял в затишке. И теперь следы явно не одного человека потянулись голубой цепочкой к садам, к речке.

Вот теперь-то Холюша по-настоящему забоялся. Но, отговаривая себя от дурного, чтобы не накликать беду, он пошел рядом со следами, которые тянулись через весь огород, потом уклонились вправо, к старым вербам, возле них речку пересекали и вовсе уж на дурнину потянули через высокие снежные наметы возле колючей терновой городьбы, напрямую.

Напрямую полез и Холюша. В сапог здоровой ноги набился снег. Деревянную Холюша с трудом тащил через сугробы. Через цепучую городьбу не смог пролезть, взял левее и уже по пояс в снегу, словно в тяжелой воде, медленно прогребался, оставляя после себя широкую борозду. Наконец он выбрался. Здесь, наверху, на луговине, снег лежал мельче, его к речке сдувало. И легче было идти.

Еще издали Холюша увидел то, чего боялся, но и зачем шел.

Когда следы от усадьбы, от сенника потянули к речке, к садам, к нежилым зимой местам, Холюша сразу понял, что не зря оттуда приходили люди и туда ворочались. Не иначе как ждали их.

Так и было. Был санный след с петлей разворота. И яркая на белом снегу желтизна конской мочи. И людские следы. И все это за речкой, на глухой по зимнему времени луговине. И нечего было себя дурить: не пьяный, и не сосед, не заблудивший случайный человек приходил ночью. Нынешней ночью приезжали на одноконных санях. Приезжали опять к нему, к Холюше. Конечно, не гостевать приезжали.

И снова, теперь уже по санному следу, пошел Холюша, хотя можно было никуда и не ходить. Санный след, держась вдоль речки, должен был вывести к мосту, к накатанной дороге и там затеряться. Холюша знал это. Но он все равно прошел до моста, потыркался на дороге, силясь разглядеть что-то, и повернул домой. Возвращаясь, он все время оглядывался; на бугре, уже в хуторе, остановился и долго глядел вдаль, в белое поле, где пропадала дорога, и белая земля пропадала, сливаясь с дымчатой белесью зимнего неба.

Холюша не знал, что ему делать. Хотелось бежать куда-то, кому-то говорить, жаловаться, защиты просить. Но у кого?.. Участковый Парыгин где-нибудь по округе мотается. Его и летом не сыщешь, а уж зимой зальется на какой-нибудь хутор... Бригадир - тоже не помощник. А и позовет милицию, так она не приедет. Мало ли, скажет, каких следов по хуторам. На каждый не насмотришься.

С такими мыслями и подошел Холюша к своему двору. Но идти домой не хотелось. И он, подумав, к магазину решил податься. Там всегда людно.

Но тут, к счастью, разом две бабы к водопроводной колонке пошли: Мишки-соседа и Феклуша Попадейкина. Холюша заспешил к ним.

- Девки! - начал он еще издали. - Ныне опять по мою душу приезжали.

Подойдя к колонке и пристукнув об наледь железным наконечником деревянной ноги, чтобы прочнее стоять, Холюша принялся рассказывать. Бабы раскрыли рты и охали:

- Гос-споди...

- Ты погляди...

Подробно все рассказав, Холюша закончил:

- Во какая беда... И не прибьюсь умом ни к чему... Куды идти, кому жалиться...

- А откель они взялись, дядя Холюша, как ты распознаешь?

- И туды, девки, прикидывал, и сюды... А не возьму в ум... На дорогу убрались, и все. И знаку об них нет.

- В милицию сообчи, - приказала Феклуша.- Строчно. А то... Так вот чекалдыкнут... И позныку не будет. Где и кто... Строчно сообчи.

Холюша согласно головой кивнул и горестно сказал:

- А чего?.. И чекалдыкнут... Зажмурки живем... Не ведаем. Ныне не схотели, завтра придут.

- О-ох, - догадавшись, всплеснула руками Мишкина жена. - Дядя Холюшка, это он был... Он...- шепотом проговорила она и огляделась.

- Как? Кто? ..

- Вчерась Мишка угля привез, из району. Темно уже приехали. С Николаем Инякиным. Привезли угля и уж где-то приложилися. Не дюже, но пьяные. И давай им еще, ставь бутылку. Ну, я им, по-хорошему, нацедила, щей влила, чтобы по-людски. Они выпили и въелись: давай еще да давай. И пристали, и пристали. Я их как шурану, идите, говорю, отседова. Ничего вам не будет. Ну, они пошли, вроде машину отгонять. И помину нет. Ждала своего, ждала... Среди ночи заявляется. Открыла ему, вышла, а с крыльца-то гляжу, от твово база человек показался. Прям по снегу-то, вижу, человек идет. Я как зашумлю: "Николай! Ты где идешь?! Цельный день колобродите! Не напилися! Не нагулевалися! Иди счас домой, спать будем". Это, я думала, Николай Инякин снова пробирается, выпить... А Мишка: "На кого шумишь?" - "Да на дружка на твово... А то не вижу, хоронится". Он повернулся и побег к нему, да зашумел так резко: "Коля! А и его догнала, и зачалась у нас ругня. - Она смолкла и уже иным, осторожным голосом сказала: - Должно, он был?.. Прям от забазья... На снегу-то видно яственно.

- Он, - глухо сказал Холюша. - Ты, девка, Мишке перекажи, пускай ружье зарядит. Чуть чего, я зашумлю, пусть прям бегит и стрелит. Перекажи.

Постояли еще, посетовали и разошлись.

Холюша в контору сбегал. Управляющего не было, пришлось обсказать все учетчице, и та обещала в милицию позвонить.

От конторы Холюша повернул было к магазину, встретить еще кого, пожаловаться, но вдруг словно в голову его кто ударил: "Чего я, дурак, мыкаюсь, а на базу недоглядел... Може, уж нет какой козы или овечки... А може, из каморы унесли чего..."

И Холюша заспешил домой. Резко скрипел и хрумкал утоптанный снег, поддаваясь железному наконечнику деревянной ноги. А сама деревяшка, как всегда при быстрой ходьбе, легко порхала в сторону, описывая полукруг и снова со скрипом вонзаясь в укатанное снегово дороги.

Во дворе Холюша сразу кинулся к погребу - там замок целый был, в каморе сало проверил, мясо. Хоть с утра и брал в закроме зерно, но не удержался, поглядел - вроде не тронуто. Тогда он на козий баз пошел, овечек да коз считать. Но все были на месте.

Холюша задержался на базу. Оглядел животину, порадовался: овечки сытые, на спину ложись - не скатишься, густая чистая шерсть кольцами лежит - хорошая волна. И козы неплохие. Холюша Белобокую ухватил, пощупал вымечко. Налилось уже. На днях должна была Белобокая котиться. Заодно и других Холюша проверил. У них ведь как может быть: не ждешь, вроде малое вымечко, а вдруг за день-другой откуда что и возьмется. А по таким холодам чуть проморгаешь, и замерзнет козленок.

Последней проверял Холюша Белоухую. Эту козочку нужно было беречь да беречь. В прошлом году он ее за большого козла выменял, за Фому, да еще додачу дал и магарыч ставил. Но Белоухая этого стоила. У нее пух был редкостный: темный, но с каким-то, вроде голубым, отливом. А как свяжется платок, да помоется, да растянется, да распушится, словно расцветет. Кинь теперь на руку и погляди: темная дымчатая ворса его мягка и тепла даже на взгляд; темен пух, темен, но светится, отливает голубым, словно ночное крещенское небо. Такой пух не сравнишь с пепельным или белесым. Его с руками по пятнадцать рублей за сто грамм рвут. И год от году он дорожает.

Холюша почухал Белоухую, наказал: "Гляди, берегись. Кабы тебя не пырнули. Котиться я тебя в дом возьму. Хорошо бы козочку принесла. Я бы тебя тогда... пообещал он.- Постарайся... Ты могешь..." Гляди, какая пузатенькая". Была у Холюши мечта. Не зря ведь столько отвалил он за Белоухую. Была мечта: весь козий завод сделать таким, с голубым редкостным пухом. Весь завод, всей округе на зависть. Когда-то, много лет назад, у Макарихи из Ярыженского хутора восемь таких коз было. Давным-давно померла Макариха, а коз ее люди и поныне вспоминают, завидуя. А сейчас, когда Белоухая стояла на Холюшином базу... Как знать... Но лучше не загадывать, бог этого не любит.

С козьего база выйдя, Холюша на гусей зашумел:

- А ну, поднимайтеся! Разлеглися! Позажралися! Ходить поразучилися! Нанесете мне жировых, чего я с ними буду делать!

Он шуганул гусей. Гуси на крыло поднялись и понеслись кругом. Заполошилось все дворовое птичье стадо. Вслед за гусями утки, гневливо крякая, лётом пошли. Куры, кудахтая, бросились врассыпную. Взлетел на плетень рыжий Петька, забил крылами тревогу. Ветер прошел по двору, пух и перо закружилось. И лишь невозмутимые индюшки пикали бесстрастно, глядя на этот содом. Да индюки принялись кровью наливаться и топорщить жесткие хвосты и крылья.

Взяв ведра и коромысло, отравился Холюша за водой, скотину поить. Коз с овечками да телку с бычком он холодной поил, для Зорьки готовил теплое пойло, отрубей ей намешивал.

Из всей животины, что на подворье стояла, Зорька была самой родной, к тому же скоро должна была телиться. Корова жила у Холюши десятый год и еще помнила мать. Но доил ее и ходил за ней всегда Холюша. На плетневом колу коровьего база висела скамейка, на нее садился под Зорьку Холюша, отставляя в сторону деревяшку. На боку у Зорьки была проплешина. Это Холюша при дойке упирался в бок головой, чтобы ловчее сиськи тягать.

Корова была большая, по масти бело-пегая. Такие вот бело-пегие коровы жили у Холюши всегда. И всех звали Зорьками. Славились они на всю округу ведерными надоями, потому что вели свой род от далекой легендарной Звезды Митрони Бочкарева из Назмищи. У Митрониной Звезды была большая, во весь лоб, белая пежина, такие же "чулочки" и хвост. Звезда жила давно, очень давно. Но от плоти ее шли по округе добрые коровки, удоистые, едовые.

Нынешняя Зорька в свой род удалась. И, меняя старых коров или неудоистых, люди старались от Зорьки получить племя. И Холюшина корова, словно на заказ, все годы телилась бело-пежистыми телочками. Всем людям Зорька угождала, а до хозяина дело дошло - подвела. Как ни хороша была корова, но годы свои выживала, и пора было ее менять. Но, словно оттягивая свой неизбежный конец, в последние разы Зорька принесла бычка и телочку, правда, вовсе не ту, какую нужно было, а красную, в быка. И Холюша тревожился. Скрепя сердце красную телочку он оставил, хотя знал, что такого молока, как у матери, от нее не видать: и молочная жила плохая, и ребра частые, и хвост короткий.

И теперь, пока Зорька, сунув морду в ведро, тянула в себя пойло, Холюша ее уговаривал:

- Ты уж не подведи. Чужим людям угождала, телочек приносила, а своему родному не схотела. Другой год уж жду. А переводить тебя все одно надо. Куды денешься, жизня... Матеря вон померла. Сколько уж лежит... Я тоже не вечный. Тоже скоро туды. В ту имению, на бугор... А куды денешься. Положено. Ныне вон ночью, не слыхала, за мной приезжали. Може, по мою душу. А чего, много ли надо? Чекалдыкнут - и конец.

С утробным звуком Зорька дотянула из ведра последнюю жижу, подняла голову, скосив на Холюшу черный глаз с синеватым белком. Подрагивали белесые реснички. Она, казалось, всё понимала. А Холюша точно знал, понимала. Он начал почесывать ее. Зорька вытянула шею, прижмурилась.

- Я на тебя с надёжей. А уж ныне не принесешь, придется Краснуху оставлять. А нежелательно. Не будет у нее молока. По всему видать. В ум не возьму, почему ты кого нужно перестала носить. Либо устарела? Не перебарывает твое нутре против бугая. Вон он какой, черт здоровучий...

2

А в ту пору, когда Холюша возле коровы толокся, шел к нему гость. Шел и матерился. И был тот гость не кто иной, как Митька, колхозный электрик и пьяница. Шел Митька по дороге и в голос Холюшу материл и жену свою Клавдию. Речь его была длинная и для постороннего не совсем понятная. Хотя объяснялось все довольно просто.

Была у Митьки дочь, он ее очень любил. Сейчас дочка в городе, в техникуме училась. Подходили каникулы, и выпадала ей возможность поехать в Москву, на экскурсию. Но нужно было доплатить тридцать рублей, остальные профсоюз давал. Да и с собой на всякий случай деньжонок взять. В общем, нужна была сотня. Митькина жена, Клавдия, жадная была - отказывать не отказывала, а руками всплескивала и слезливо кудахтала:

- Да где же ее взять, такую копеечку. Новыми сто рублей, господи прости... Теми-то тыща... А у меня шесть рублей осталось.

- С книжки сыми, - советовал Митька. - Нечего жмотничать.

- Тебе бы только сымать... Легкая рука... Класть тебя нету. Ты только к Максимову на прилавок кладешь. Вот оттуда поди да сыми. Там мною наложено.

Клавдия скорей бы повесилась, чем с книжки на такое дело сняла. Но была она все же матерью и потому решила денег занять. Тем более два готовых пуховых платка у нее лежали, базарного дня дожидаясь.

Мыкнулась Клавдия в один дом - отказали, и в другом не нашлось. Не держали люди при себе больших денег. Лишние старались на книжки класть. Походила, походила Клавдия и плюнула. "Иди к Холюше, - сказала мужу. - Раз ты такой желанный, иди и кланяйся. А я в его корсачиную нору не пойду. Я еще при живой матери случаем зашла, так досе дурнит".

У Холюши деньги водились. Всякий на хуторе знал, да и по всей округе, что на книжке у него большие тысячи лежат. Ведь продавал он по осени уток, гусей, кур, а теперь и индюшек. Машинами на базар вывозил. Бычков хороших выкармливал, кабанов, овечек. А по скольку пуху начесывал! Так что деньгам Холюшиным люди и счет потеряли.

Держал он денежки и при себе, в доме. На хлеб да на бутылку взаймы не давал, но когда для дела нужна была круглая копеечка и негде ее взять - шли к Холюше. Он не отказывал. Правда, не в одночас давал. Прежде долго жаловался на горевское житье, на тяжкие труды свои, на бессовестного Кольку Калмыкова, который взял пятьдесят рублей, а потом год целый отдавал. К тому же величать нужно было Холюшу в такие минуты Халамеем Максимовичем.

А Митьке выбирать было не из чего, дочку он очень жалел. Пришлось собираться. Хотел по дороге в магазин завернуть, к Максимову, остаканиться, да побоялся. С пьяного языка всякое может сверзнуться.

Вот и шел он по дороге, трезвый, как дурак. Шел и матерился в голос.

- В бога мать... Миллионщики... Революции на вас нету... Суки... Реформу бы хоть какую... В креста бога.

Но, к Холюшиному двору подойдя, замолк.

На базу, за воротами, слышался тонкий голосок хозяина:

- Ишь взгалчилися! Какие пашаничные! Зобайте, чего дают! А то вон чилята сидят, они враз наведут решку!

- Халамей Максимыч! Халамей Максимыч! - прокричал Митька.

Тот услышал, к воротам подошел.

- Кто это?

- Да я, Митька!

Холюша Митьку не очень привечал, но побаивался. Без электрика не обойдешься.

- А-а, Митрий... Всходи на крылец, счас отворю.

Несмотря на дневное время, окна в Холюшином доме были затворены, лишь одно, возле крыльца, подслеповато щурилось темным оком.

Загремел засов, и показался на свет божий Холюша.

- Здорово живешь, - поприветствовал его Митька. - По делу я к тебе, Халамей Максимыч... Счас докурю.

- Докуривай.

Вроде бы часто, чуть не каждый день, встречал Митька Холюшу. Встречать-то встречал, да уж толком не глядел. На кой черт он нужен. А вот сейчас...

Лицо Холюши было каким-то зольным от седой щетины, которою тот соскребал раз в неделю. Телогрейка и ватник затерханы до лоска.

- Проходи, проходи... - И хозяин, войдя в чулан, отворил дверь и первый ступил в единственную из всего дома жилую комнату - кухню. Митька шагнул за ним.

- Ты чего в теми, ощупкой живешь? - спросил Митька.

- Я привычный, - сказал Холюша. - Ну, счас отворю...

Он вышел и с улицы распахнул окно. Лишь одно, от речки. Стало посветлее.

И сейчас, и раньше, при матери, жил Холюша лишь здесь, на кухне. А кухня была, каких нынче не увидишь. Большую часть ее занимала русская печь, которую Холюша топил лишь по весне, выводя на ней гусят. Он умел это делать. По полторы сотни выводил. В остальное холодное время для обогрева служил пригрубок. Он стоял посреди комнаты. Жестяная черная труба коленом отходила от пригрубка и пропадала в печи. Старинная деревянная кровать с валяной шерстяной полстью и ватным лоскутным одеялом. Полати... Настоящие полати, каких теперь и в кино не увидишь, настелены были от печи до стены. А вдоль стенок тянулись широкие старинные лавки, темные от времени.

Вернувшись, Холюша пригласил гостя:

- На стулку садись.

Митька на лавки взглянул, засмеялся:

- А этих чертей нету?

- Нету, рано еще, - успокоил его Холюша.

Когда-то, по весне, зашел Митька к Холюше, и чуть было родимчик его не хватил. В полутьме комнаты вдруг увидел он, что со всех сторон, из-под лавок, с шипом тянутся к нему белые змеи. То были гусыни. Штук двадцать сидело их на яйцах, здесь же, в доме, под лавками.

- Как живешь-можешь, Халамей Максимыч? - с подходом начал Митька разговор.

- Какая наша жизня, - пожаловался Холюша.- Еле чикиляю. Оровое место, потрогал он поясницу,- нудит и нудит. На попово гумно сбираюся. Пора.

- Не беднись. Ты еще здоровее меня. Такое хозяйство содержишь. Цельный колхоз. Прешь и не кряхтишь.

- Приходится, Митрий... Кто же за меня делать будет? Чужие люди не придут.

- А ты б прижаливал себя. Помене всего держал.

- Да как же... Так уж... - развел руками Холюша.

Митька вдруг рассмеялся.

- Чего дыбишься?

- Мы с тобой, Халамей Максимыч, одной породы.

- Эт какой?

- Алкоголики.

- Эт почему?

- Я на водке помешанный,- объяснил Митька, - а ты на скотине. А? Как? - и победно рассмеялся.

- Нас властя призывают... - оправдался Холюша. - Разводитя... Кормитя города...

- Тебя и не призывали. Воспрещали, а ты свое лепил.

И вправду. Были крутые, лихие для хуторян времена, когда и землю отбирали, и не давали травинки косить, то запрещали, другое ограничивали.

Но при любых обстоятельствах никогда никто не сумел низвести Холюшу. Может, потому и терпели его, что всегда и во все времена первым платил он все налоги, страховки, сборы, обложения; по любым поставкам - мясо, молоко ли, яйцо, шерсть - первым на хуторе отчитывался. Облигации выкупал враз и наличными.

Холюша законы уважал, и не то что побаивался, а старался быть с ними в ладу.

- А как же,- не сдавался Холюша. - Призывают властя. Надысь в конторе говорили, новая положения вышла. Там все прописано, про землю и про скотину. Водитя, мол, сколь смогете. Ты не слыхал?

- Да вроде слыхал,- ответил Митька. - Закурю я, Халамей Максимыч. А то у тебя дух какой-то, курями воняет.

- Четыре куренка задристали,- объяснил Холюша,- я их под печь посадил, пускай греются.

- Головы б им посек - и вся недолга...

- Головы отвернуть всякий смогет, а ты вот подыми их. Почему вот у меня все водится, а? Ничего не дохнет?

- Почему водится... Хозяин ты хороший, вот и водится. Гусят умеешь выводить не хуже гусыни...

- Матеря это, матеря меня научила. А колготы сколько, Митрий. Печь топи и топи. Яйца перекладай да перевертывай. Полазишь по этой печи, ни дня ни ночи не знаешь. Господи... А люди завидуют. А с индюками сколь я беды принимаю... Уж такие квелые... Ты-то их тоже держал?

- Все подохли,- сказал Митька.

- А я из полтора сот четырех всего упустил,- горделиво сказал Холюша. Люди вот завидуют, говорят, в руку пошли. А сколь я беды с ними принял, ум замрачился. За всем доглядать надо. За всякой животиной. Вон дох нападает. На коз да овечек, у кого - на курей. Лечить надо, не лениться. Телят понесет, белоголовник оттапливаю и пою. Коз да овечек - крушиной. Всякая трава пользительная. Сбирать надо, не лениться. Тогда и дох не нападет.

- Конечно, Халамей Максимыч, ты из хозяев хозяин. Всю жизнь на этом деле.

А Холюша вдруг вспомнил свою беду и пожаловался:

- Ты не слыхал, Митрий, не передавали?.. Ныне ночью опять ко мне приезжали, ночные гостечки, провались они в тартарары.

И он пересказал все, что было, и что думал, и чего опасался.

Просидев положенное, Митька просьбу свою выложил, о деньгах. В ответ пришлось выслушать долгие жалобы на великие расходы и, конечно, на Кольку Калмыкова, который полсотни взял, а потом отдавать не хотел. Этот Колька Калмыков, дед Николай, лет пять уже на кладбище лежал.

Но в конце концов Холюша согласился:

- Ты поди покури. А я счас тут...

Митька с готовностью поднялся и вышел на крыльцо. Усмехнувшись, подумал, что неплохо бы подглядеть, где прячет свои деньги Холюша. Люди разное говорили. И что носит он их на шее, на гайтане. И что в гармошку прячет. Дескать, вся гармошка, полные мехи деньгами набиты. Всякое говорили.

Хозяин вышел, вынес деньги, десятками, сказал:

- Перечти...

Митька послушно пересчитал, начал благодарить, прощаться. Холюша сказал:

- Тоже надо бечь. На ферму. Ребят попросить соломки подвезть.

- Зачем тебе солома? Подстилать?

- Не, скотину кормить.

- Сена, что ль, мало?

- Сенцо-то есть, слава богу, должно хватить. Да соломка ныне неплохая, ячменная. Едовая соломка. Я ее с сенцом перебиваю, гормя горит.

Дело было сделано, деньги лежали в кармане. И Митька позволил себе подкузьмить Холюшу.

- У тебя, говорят, гармошка хорошая? Дал бы поиграть.

- Да ты ж не могешь, - не понял или притворился Холюша.

- На твоей гармошке, - многозначительно сказал Митька, - я бы сыграл. Так сыграл, что чертям тошно было бы, - он засмеялся и пошел восвояси.

Нужно было побыстрей деньги отнести да подумать о выпивке.

3

Солому привезли вечером. В темноте Холюша лишь разобрал, что воз хороший, с верхом тележка.

- Ох и добрая солома,- сказал тракторист. - Да много наложили. За нее, Холюша, надо бутылку да еще самогонки влить. Гляди, воз какой.

- Разве я жадаю,- ответил Холюша. - Я всегда говорю, накладайте поболе. А они чудок накидают. Чтоб я скорее опять пришел.

Холюша не пожадничал: бутылку магазинной водки принес и самогонки. Он был доволен.

А утром, когда развиднелось, оказалось, что зря он расщедрился. Солома была почти вся смерзлая. Как с самого верху, со скирда сняли оберемок, так и положили на тележку. Холюша с досады чуть не заплакал. Бросил все дела и захромал в контору. Но бригадир ему раньше встретился, возле клуба. Только Холюша начал свою беду объяснять, жаловаться, как тот его остудил:

- Так тебе и надо. Не будешь бутылки на ферму таскать.

На том и кончился разговор. И поплелся Холюша восвояси. А когда управился на базу со скотиной, снова к оберемку соломы вернулся. Надо было его до ума доводить.

Здесь и застала Холюшу милиция. Подкатил газик, из него двое вышли, в шинелях. Холюша, увидев их, оробел, вилы опустил и глядел, как они подходят.

- Здорово, дед...

- Здравствуйте,- с робостью ответил Холюша.

- Рассказывай, какие к тебе гости приезжали? Чем обидели?

У Холюши тотчас испуг прошел.

- Меня, сынки, всяк обидеть норовит,- начал он жалобно. - Нижут и нижут. Вон солому привезли, радуйся... А на кой она такая сдалася?.. Все руки об нее оборвешь. Для старого человека, для инвалида... И совесть их не мытарит... А к бригадиру не подходи. Он тоже ихнюю руку держит.

- Солома, ладно,- остановили его. - С соломой вы уж как-нибудь сами. Ты нам про ночных гостей расскажи.

Холюша все рассказал. И рассказал, и показал. Битый час милиция с ним ходила. По забазью, по огородам и дальше по следам, на луг, за речку. Дни стояли покойные, и следы нисколечко не замело. Все было видно явственно, как и в первый день.

Милиция не только глядела, но фотографировала, рулеткой замеряла. И Холюша ободрился. "Эти враз сыщут, - думал он. - Добытные ребята. По хватке видать".

Вернувшись с низов ко двору, милиция собралась уезжать.

- Ребяты,- засуматошился Холюша. - Можа, в дом взойдете, обогреетесь... Перекусите. И выпить у меня найдется, с морозцу, с устатку. Как же... Такие гости дорогие...

- Погоди, дед,- остановили его.

Возле заведенной машины милиционеры о чем-то посовещались, затем один из них в кабину залез. Газик, лихо развернувшись, поехал прочь. А второй милиционер остался. Он подошел к Холюше, засмеялся и громко сказал:

- Ну, что, родня, давай знакомиться?

Холюша его не понял, глядел недоуменно.

Милиционер, так же посмеиваясь, спросил:

- Фетинью Бирюкову знаешь?

- Да как же... господи... - всплеснул руками Холюша. - Сеструшка... Да ты кем же ей? Не признаю. Сын, что ли?

- Погоди, какой сын. . . Марию Куркину, дочь ее, наверно, уж и не знаешь? Родня...

- Ну... это как... Марея... - пытался вспомнить Холюша. - Это какая же?..

- Ладно,- помог милиционер. - Мария - старшая дочь. А у нее дочь - Ирина. А Ирина это и есть моя жена, понял?

Холюша толком ничего не понимал, но закивал головой.

- Значит, сеструшка... А Марея это... ну, да... А это, значит, внука... Ага, Марея, это белявая такая...- все путалось у него в голове, да и не могло проясниться, потому что сестру Фетинью не видел он много лет. Считай, с самой войны. Только раз приезжала она, мать хоронила. Уж Фетинью-то забыл, а про детей ее что говорить. Он про них и не ведал.

- Белявая, чернявая... - остановил его милиционер. - Меня Георгием звать. Тебя... Холюшей... А по-настоящему как? Николай, что ли?

- Не... Крестили-то Халамеем... Нет, Фаламеем... Халамеем меня мать звала. А по святцам... - задумался Холюша, а потом решил: - Зови дед Халамей, так-то правильно. Или дед Холюша.

- Халамей, значит, Халамей.

- А тебя не упомню.

- Егором,- махнул рукой милиционер.

- Егор, Егор,- обрадовался Холюша. - Брат у меня был Егорий. Помладше меня. Помер.

- Ну, царствие ему небесное, насилу договорились,- облегченно вздохнул Егор. - Как же вы так живете? Родные брат с сестрой, а друг друга не знаете?

- Она вона где... А я здеся. У нее семья, дела. Я тоже не имею возможности. Хозяйство... Куды денешься... Никак нельзя отлучиться. Да чего мы на дворе стоим? - спохватился Холюша. - Заходи, поглядишь, как живу. Это вы из самого города приехали? - ужаснулся он.

- Нет,- ответил Егор. - Я здесь в райотделе работаю. Два года уже.

- А чего ж не попроведал? С женою бы приехали...

- Да все дела,- усмехнулся Егор. - Все дела.

Егор и раньше был наслышан о Холюше, и нынче, на хуторе, ему много наговорили. И потому, в дом войдя, он не очень удивился запустению жилья, тем более что милицейская служба приучила его видеть разное.

Раздеваться он не стал. Холодно было в доме. Пригрубок еле теплился. На нем ведра стояли с каким-то скотиньим пойлом или месивом.

Холюша засуетился. Он набил пригрубок дровами, и огонь оживел. Из кладовки сала принес, мяса отрубил, отыскал сковороду.

В комнате было сумрачно. Хозяин достал большую лампочку и, вкрутив ее, щелкнул выключателем. Освободив часть стола, Холюша бутылку водки достал, нарезал сала, сказал гостю:

- Подвигайся, пока жаренка поспеет, выпьем за встречу. Сальцем закусим, яичками... За солкой я уж не полезу.

Из железного короба, что на лавке стоял, достал он хлеб. Еще несколько таких коробов с дверцами помещались на полу, на печи.

- Это что у тебя? - спросил Егор.

- Мыши одолевают,- объяснил Холюша. - Прям шубой идут. Аж страшно. .. Сухари висели в суменке. И вроде покрал кто. Подчистую. Я в магазине духовок набрал, от печек. Все в них сохраняю.

- Кота бы завел...

- Они и его сожрут... Давай выпьем, за знакомство, со свиданьицем.

Выпили, принялись закусывать.

- Сало вкусное,- похвалил Егор. - А хлеб какой-то... С лета у тебя лежит, что ли?

- Хлебушко нам редко возят. На той еще неделе привезли. Вот цвелый и едим. Може, на этой привезут. А сало у меня неплохое. Люди хвалят. Я тебе с собой покладу.

- Как жизнь-то, дед Халамей? - спросил Егор сочувственно.

- Чего жизнь? Жизня неплохая. Хорошо живу, грех жаловаться. Все есть. Трудюся, вот все и есть. Коровка хорошая, телушка, козочки, птица. Хорошо живу.

- Помногу водишь?

- Да как тебе не соврать. Коз, овечек по сену оставляю. Два десятка, полтора. Гусей, тех... Вон ту весну восемнадцать гусынь сидело. Да сам я на печи сотню вывел. Уж сколь тама... Бог ее знает... Много,- заключил Холюша.

- Ты чего же их, не считаешь? - удивился Егор.

- А чего считать? Рази перечтешь? Индюшек, я знаю, полторы сотни без малого. А гусей да утей... Черт их посчитает. Куры, те самосевом растут. В бурьянах нанесут, на сеннике, в дровах, потом ведут цыплят.

- Ну, ты даешь,- покачал головой Егор. - Иль смеешься?..

Холюша говорил правду. Он и в самом деле не знал, сколько у него по лету птицы бывает. Выводили гусят гусыни - на печи в самодельном инкубаторе вылуплялись. Холюша держал их день-другой в хате, потом на базу давал чуток подрасти, а потом гнал с база на волю. Рядом была вода, просторный Холюшин плес. И земли на хуторе хватало. И все долгое лето огромное Холю-шино гусиное стадо бродило за дамбой, по выгону, гоготало на своем плесе, перебиралось на чужие, на полях промышляло. Холюша их раз в день, к вечеру, прикармливал зернецом возле двора, чтобы баз не забывали. Здесь, подле база, они и ночевали, а утром с гоготом отправлялись на добычу. И никто их не трогал.

Утки, которых было поменьше, лето проводили на плесе и речке. Но хозяина и баз они знали.

А осенью начинался торг. Продавал Холюша птицу живьем. Гусей по двенадцать рублей, по пятнадцать. Уток, конечно, дешевле. Хорошо платили за индюков. Немного себе оставлял на зиму, для еды. И, конечно, в завод.

- Жаренка готова,- шумно понюхал Холюша. - Счас яичков туда разобьем. Так и живем, Егор, трудимся... - он набил в сковороду яиц, готовую еду на стол принес, разлил водку. - Трудимся, Егор... В крестьянстве оно так... Кажеденно в работе, беспрерывно... Закусывай, закусывай, мне-то жевать плохо... Надо бы в больницу. Кричи, надо с зубами что-то делать. А нет возможности. Не на кого хозяйство кинуть. Летось так зубы болели, на стенку кидался, а скотину не бросишь. Слава богу, мать-покойница научила. От зубов дурно-пьян помогает. Летом наберешь, точинок, нашелушишь, на сковороду их. Они горят, а ты дым ротом глотаешь. Хорошо помогает. Ты ешь, ешь, пока горячее. Не гляди на меня. Вот такая наша жизня, Егор, в крестьянстве...

Холюша замолчал, а потом вдруг спохватился:

- Про себя обскажи... Как живете? Давно ли Фетинью видели? Как она? Не болеет ли?

Егор рассказал о бабке, о своей семье.

Разговор шел разговором, но гость никак не мог обвыкнуться в этом жилье. И оглядывал его снова и снова.

Холюша заметил это.

- Живу, слава богу, неплохо,- бодро сказал он. - Здеся по хозяйству управляюсь. А там чистые комнаты,- поднялся он. - Я их зимой не топлю. Дров не напасешься.

Он отворил тугие, прикипевшие двери и позвал за собой Егора.

Тусклый желтый свет озарил мертвую горницу. Все в ней было как у людей. Большак, убранная кровать с покрывалом, подушками и накидками. Диван с красным бархатом. Занавески на окнах. Стол под скатертью. Телевизор на полированной тумбочке.

Простучав деревяшкой до середины комнаты, Холюша остановился и горделиво повел рукой:

- У меня все есть. На кровати будешь ныне ночевать. Натопим, расхорошо будет. У меня тута всего много. В сундуках лежит,- указал Холюша на два деревянных, старинной работы сундука. - Там тюли много, одеялов, полотенцев. Костюм добрый. Много всего.

Склепным холодом дышала комната, и Егор поспешил из нее уйти.

- Давай допьем, доедим, - и уже на кухне за столом он вспомнил: - А телевизор... Ты чего телевизор не глядишь? Поставил бы сюда...

- Ну его,- махнул рукой Холюша. - Не гляжу. Днем некогда, надо дела управлять. А ночью когда же, ночью спать надо. Нехай стоит. Може, когда-нибудь... Може, вы с женой в гости приедете, поглядите...

- Его уж, наверно, мыши погрызли...

- Да бог ведает,- легко согласился Холюша. - Може, и поточили.

- Ну, спасибо, дед Халамей,- поднялся Егор. - Напоил и накормил, спасибо. Пойду во двор, покурю.

- Кури здеся, ничего...

- Нет, пойду... - Егору не терпелось выйти отсюда. Деда не хотелось обижать, но и сидеть здесь было невмочь.

- Может... дров наколоть или еще чего? Мы ж тебя от дела оторвали.

- Да чего дела... Нашим делам счету нет... Пойдем, коли так,- поднялся Холюша. - Попоить скотину надо. Сенца подбросить.

- Ну, вот я и помогу.

Холюша взял с пригрубка ведро. Егор потянулся за ним.

- Не надо... Ты в добром, измажешься. Тута поросенку да корове. Коли хочешь, ведра возьми. Коз да овечек попои, да телка с телушкой.

Едва вышли в чулан, Цыган, почуяв чужого, поднялся на дыбки, натягивая цепь.

- Счас замолчи! - прикрикнул Холюша. - Кому говорю! - И Цыган послушался.

Увидев хозяина, взбулгачилось птичье войско: загоготало, закрякало, закудахтало, хороводом по базу пошло.

- У-ух, прорвы... Жрете и жрете!

- Да-а,- удивился Егор. - Чем же ты кормишь... такую ораву?

- Как чем? Зернецом.

- Сколько же им зерна надо?

- Куды деваться, надо содержать...

- Дают зерно в колхозе?

- Дают, маловато. Приходится подкупать.

Колхоз давал, конечно, каплю того, что нужно было Холюше. Пенсионерские центнер-другой. Но Холюша выворачивался. Осенью, когда раздавали хлеб, Холюша был наготове. В этот день он запасался водкой, самогоном, деньгами. И не отходил от амбаров. Механизаторы получали зерна помногу. И не один, так другой, не другой, так третий, особенно если жены рядом не случалось, оделяли Холюшу, который сдабривал сделку магарычом тут же, на месте.

Холюша в этот день центнеров пятьдесят подкупал.

Егор быстро напоил скотину. Обглядел корову и приплод, козочек посмотрел и вновь удивился:

- Ну, ты даешь, дед Халамей. Ферма целая...

- А чего... Счас призывают, чтобы всего поболе держали. Хлопотно, но куда деваться... Трудюся... Трудюся, Егор. Помочи ждать неоткуда. С утра до ночи. А теперичка пора пришла котиться, и ночей не буду знать. Про весну, лето уж не говорю. Тама-а... Делов да делов. Руки обрываются. Одного сена пока накосишь. Такую страсть господню...

Сенокос и вправду был самой тяжкой для Холюши порой. Как-никак, а нога-то одна, другая - деревянная, не больно ловко с ней. И в сенокосный срок Холюша, считай, совсем не спал. Прикорнет иногда на часок. И все. В эту пору он вовсе высыхал и чернел ликом, как головешка. Он свои угодья выкашивал, а потом брал где можно: по лесу, на буграх, за огородами, по степи, в балочках - никакою травой не гребовал, вплоть до осоки. А уж от сена, от запасов своих глядел, сколько в зиму скотины оставить. Кое-кто из молодых, на одну коровенку запасая, жаловался. Холюша косил и косил, днем и ночью.

А оттого что сенцо трудно доставалось, он и берег его. И сейчас, надергав крюком охапку, он не враз его корове понес, а столько же соломы набрал и принялся тщательно перебивать, мешать солому с сеном, да так, чтобы даже мудрая Зорька не смогла сенцо выбрать, а подряд мела.

Егор помогал. Он разбирал оберемок, что бессовестный тракторист привез. Разбивая корку льда и отбрасывая в сторону глудины, Егор добрую солому копешкой складывал, заледенелую раскидывал. Может, солнце пригреет, так обтается. Оберемок большой все же был. Разобрав его, Егор отряхнулся, закурил.

- Ты, гляжу, парень не городской, - похвалил Холюша.

- Деревенский, - ответил Егор. Он жалел старика к вместе с тем какое-то уважение к нему чувствовал.- Да-а, - протянул он. - Многовато ты все же держишь. Не по годам.

- Чего уж... Всю жизнь так... - Холюша с хитрецой улыбнулся. - Для вас, для городских, стараюся. У вас тама не сеяно, не пахано. Асфальты кругом. Надо вас поддерживать. А то, чего доброго, перемрете.

- Нет, - покачал головой Егор. - Все равно много. Ты старый человек, калеченый. Зря...

- Всю жизню так... - повторил Холюша.

И вдруг Егору мысль пришла.

- Слушай, дед Халамей, - сказал он, - ты на пенсию собираешься?

- Сполохнулся... Уж десять лет получаю...

- Да нет... Не то. На настоящую пенсию, на отдых. Чего ты так живешь? Один, неухоженный, ты уж извини, но в доме-то у тебя... Бросай все, ликвидируй скотину свою. А возле нас недалеко домик продают, огород есть. Просят пять тысяч. Есть у тебя столько денег?

Холюша даже засмеялся от такой наивности.

- Ну, есть? - переспросил Егор.

- У меня поболе есть.

- Вот и хорошо. Купи тот домик. Позови к себе Фетинью с Марией. Они, дед Халамей, плохо сейчас живут. Там дочка вторая с мужем, они им житья не дают. Ты дом купи и позови их. И будете жить себе поживать. Будешь обмытым и обстиранным. С родными людьми. Тебе будет хорошо и им покойно. Ну, как? Согласен?

- Ух ты, какой скорый... А чего, взаправди Фетинью притесняют? Внуки?

- Обижают. Неспокойно им там.

- Скажи на милость, какая беда...

- Вот и помоги ей. Родная же сестра. И Мария с ней приедет. Она помоложе. Будет за вами глядеть. Соглашайся.

Холюша помолчал, потом, вздохнув, сказал:

- Дюже ты скорый. Раз-два - и лататы.

А Егору этот только что пришедший на ум замысел все более и более нравился. Жена давно говорила о матери и бабке, что надо бы устроить их как-то, помочь. И вот теперь все могло сложиться по-доброму. И этому старику будет хорошо рядом с сестрой да племянницей. И женщинам он будет подмогой. Правда, теща Мария была с характером. Да как знать... Поживут, притрутся. Но Егор понимал, что настаивать и торопить деда Холюшу нельзя. Не такое это простое дело, чтобы в одни час решить. И он лишь сказал:

- Подумай, дед Халамей, подумай хорошенько. Может, и надумаешь. - А про себя Егор решил приехать и раз, и другой, а может, и бабку Фетинью привезти, но добиться своего.

Издали заслышав голос своей машины, Егор начал прощаться.

- Уезжаешь? Да чего ж ты? - всполошился Холюша. - Тута бы и ночевал. Гуся бы сварили, у меня и водочка еще есть, поговорили бы по-родственному.

- Служба, - коротко ответствовал Егор. - Надо ехать.

Машина уже подбегала ко двору. Но Холюша успел-таки добрый ломоть сала принести и мороженую гусиную тушку.

- Зачем? - отнекивался Егор. - Не надо.

- Бери, бери. Отвезешь гостинец. Скажешь, от деда Холюши. Похлебаете гусиной лапши. А то был в гостях и пустой уехал. Так не положено.

Егор уже попрощался, подарки в машину уложил и вдруг вспомнил:

- Вот что, дед Халамей, люди говорят, ты деньги дома в какой-то гармошке держишь. Это дело твое. Но лучше в сберкассу отвези. Сам понимаешь. Нагрянут снова друзья...

- А вы их изловите... А людей не слухайте... Люди наплетут...

- Смотри. Мое дело посоветовать, - сказал Егор, усаживаясь в машину Бывай здоров.

Холюша недолго глядел вослед уходящему газику и вернулся на баз, начал в курнике чистить. Чистил, чистил и вдруг услышал, будто коза покряхтывает. Услышал и проверить пошел на козий баз. А пришел - Белобокая уже опросталась.

Холюша козленка забрал, в хату понес. Голова у козленка была большая. "Козел", - с досадой подумал Холюша. Но против ожидания козочка то была. Холюша закутал ее в мешок, к пригрубку положил. Козочка тонко закричала, высовывая длинный узкий язык, и заворочалась, пытаясь освободиться, встать на ноги.

- Полежишь, тогда тебе матерю приведу, пососешь...

И ушел Холюша на баз. Он чистил курник, ломом отбивая толстую кору слегшегося помета. Потом все вывез на огород, снова в курник вернулся, насесты поправил, солому в гнездах сменил. И лишь тогда вернулся в дом.

Козленок уже выпростался из мешковины и топотил по полу. Мекекал жалобно, хватал что ни попадя, пытался сосать. Холюша привел Белобокую. Козленок тут же кинулся к матери, начал вымя искать. Он искал его везде: под бородой, возле шеи, у передних ног, на брюхе и в положенном месте, да не находил. Белобокая лизала его, сдержанно, любовно помекивая, но помочь не могла.

Холюша начал сердиться:

- Чего это ты нецапучий такой, а? Поухватистей надо быть... И ты, обругал он Белобокую, - крутишься как черт. Молоденькая, что ль...

Дело заходило к вечеру, возиться было некогда, Холюша завалил козу и почти силком всунул козленку сосок вымени в рот. Пососал козленок немного, с тем козу и выпроводили.

- Переморишься, - сказал козленку Холюша. - Будешь поухватистей..

Так оно и случилось. Поздно вечером, обделав все дела, Холюша снова привел Белобокою. Голодный козленок быстро вымя ухватил и до отвалу насосался. А сытый улегся на дерюжку возле пригрубка и заснул.

Готовился ко сну и Холюша. И теперь, перед тем как спать лечь, он вспомнил про Егора. Понравился ему новый внук. Хоть и милиционер, а не гордый и, видать, работящий, не боится руки измазать. И о сестре Фетинье вспомнил Холюша, пожалел ее и подумал, что, может, и вправду уехать ему с хутора, купить тот домик, о котором Егор говорил, вызвать сестру и жить себе поживать, покоя старые кости. "Сидеть будешь на лавочке, - вспомнил он слова Егора, - да семечки грызть". И сразу привиделся Холюше какой-то старый человек, с редкой козлиной бородкой, с батожком в руках. Сидел тот человек на лавочке, неподвижно сидел, и подсолнечная шелуха путалась в его бороде. Наверное, Холюша когда-то видел такого старика, но забыл. Наверняка видел, уж очень явственно он представился: с батожком, с бороденкой, и шелуха в ней. И Холюша засмеялся.

Но следом пришла иная, умная мысль: "Пусть все: сестра, внучка и Егор-милиционер приезжают сюда, на хутор". Эта мысль была так хороша, так правильна и очевидна, что Холюша удивился: почему раньше до нее не додумался ни сам он, ни Егор. Ведь дом и все хозяйство здесь, на хуторе, а там где-то, там ничего нет. И у Фетиньи за душой ничего нет. И у Егора с внучкой одни только гуни. И конечно, глупо, немыслимо глупо было бы бросать такое поместье, такую землю и куда-то идти, на чужую сторону. Последний недоумок такого не сделает, не то что добрый хозяин. А вот переехать всем сюда было бы славно. Егор стал бы участковым наместо Парыгина, ведь тот совсем уже старый. Бабы по дому бы глядели, управлялись с огородом. И сам Холюша еще в силах. А с Егоровой помощью... И всплыло в памяти далекое-далекое время, когда в этом дому совсем молодой Холюша счастливо жил и работал с отцом-матерью, братьями Петром и Егором, с сеструшкой Фетиньей...

Так сладко было вспоминать об этом и думать о новом житье, которое будет, о новом, но таком же счастливом...

4

Во вторник за полдень привезли Холюше дрова. Привезли и на забазье кучей свалили. Довольный Холюша, кинув все дела, принялся это добро разбирать: ровные дубки-стояны волоком тягал в сарай, слеги тут же костром ставил, корявое да неподъемное на месте оставлял - пилить.

Полегоньку стемнело. Солнце ушло, и слабый примороженный румянец на горизонте выцветал на глазах. Серая дымка наползала с полей на хутор, и первые мерклые огоньки уже затеплились в домах.

Закончив возиться с дровами, Холюша зажег фонарь и на баз вошел, не зная, с чего начинать. Птица уже угомонилась на нашестах и полу и встречала его сонным квохтаньем, погакиванием, кряком. Козленок в дому, конечно, оголодал, и Холюша, ухватив Белобокую за рог, повел ее. Еще в чулане, услышав тонкое мекеканье, коза откликнулась и кинулась вперед, чуть Холюшу на землю не повалила.

- Кормитесь тут сами, разбирайтеся... Некогда с вами, - сказал он, входя в дом, и, прихватив полбуханки хлеба и остатки щей в чугунке, понес еду Цыгану.

Потом он сена задавал всей скотине, запирал ее. К той поре козленок уже насосался, и Холюша Белобокую повел на место. А в это время в катухе начала котиться молодая козочка. Холюша и не думал на нее. Проверял ведь недавно, вымечка, считай, не было, а вот... Котилась она первым, трудно котилась. Козленок неправильно шел, ножками. Холюша фонарь в катухе на столб повесил и стал козе помогать.

На приплод он уже не рассчитывал, бога молил, чтобы коза живой осталась. Но наконец она опросталась мертвеньким, и Холюша вздохнул облегченно.

Дома, поставив фонарь на пол, он начал растапливать пригрубок. Свет не включил, запамятовал. Холодно было в хате и хотелось есть, горячего.

В железном коробе оказалась жаренка. Он достал ее, пристроил на плите. Туда же, в сковородку, и хлеб положил, чтобы согрелся. От огня и тепла зашевелились в подпечье курята. Холюша вспомнил, что не кормил их с утра, отодвинул заслонку и насыпал на пол пшенца и хлеба, может, поклюют. Водички принес.

Тихо было в доме, лишь мороз изредка в стенах потрескивал да шуршали и попискивали мыши. Холюша сидел у пригрубка на скамеечке, вытянув вперед и здоровую ногу, и деревянную, морил его сон. Жаренка в сковороде начала потрескивать, разогреваясь.

И тут залаял Цыган. Холюша прислушался: нет, то не кошка была, не чужая собака, а кто-то другой. Цыган злобно, взахлеб лаял и лаял в сторону забазья. Глухой был звук, значит, туда он лаял, в огород.

Не хотелось вставать, и страх понемногу начинал студить душу. "Вот сейчас перестанет, вот сейчас, - гадал Холюша. - Може, лиса забрела, а он чует ее...".

Но то была не лиса. Собака лаяла на человека. Холюша научился понимать Цыгана. Сейчас тот человека чуял, а может, и видел острым глазом во тьме. И звал хозяина. Нужно было вставать.

Холюша поднялся, взял фонарь и потом поискал возле печки какое-нибудь оружье. Но ничего там не было, кроме старых ухватов.

Цыган лаял настойчиво и злобно, призывая хозяина. Холюша вышел из чулана на черное крыльцо и, подняв фонарь над головой, крикнул во тьму:

- Кто там?! Что за человек?!

Если кто-то из хуторских пришел - хотя в забазье им делать нечего, - если хуторские, по нужде, то отзовутся.

Но никто не отозвался. И Холюша повторил:

- Кто там?!

Теперь он не ответа ждал. Он голосом хотел сказать, что здесь хозяин, не спит, и потому лучше чужим людям убираться прочь.

Цыган, услышав хозяина, на мгновенье замолк, а потом снова начал лаять. Он уже не бросался, а лишь настойчиво лаял, указывая.

Потянувшись, Холюша поглядел через забор: у Михаила окна светились. И тогда он пошел через двор к Цыгану, к плетню. Собака метнулась к хозяину и, встав возле него, негромко, сдержанно порыкивала, взгляда не отводя от забазья.

- Кто там?! - снова спросил Холюша, поднимая над головой фонарь. - Что за человек?!

Тишина была ему ответом.

Холюша отворил воротца и вышел за баз. Белел снег, темнели костры жердей, а за ними скирд сена. И черной тучей стоял поодаль сад. Холюша двинулся тропкой и здесь, прямо-таки в двух шагах, почти наткнулся на человека. Тот стоял возле костра жердей и потому был раньше не виден. Он стоял неподвижно и молча.

- Ты кто такой? - возвышая голос для смелости, спросил Холюша. - Чего здесь потерял? - Он вперед выдвинул фонарь, но светом незнакомца не достал и опустил его, за спину завел, чтобы себя меньше освещать.

Человек шаг вперед шагнул и забормотал что-то невнятное.

"Пьяный... - подумал Холюша. - Вроде нет", - он не курил и всегда издали чувствовал запах спиртного.

- Не разберу ничего... Латошишь, как незнамо кто. Чего надо, толком скажи?

Человек стоял, угнув голову, шапка его была насунута низко, уши опущены.

Человек бормотал-бормотал и вдруг, повернувшись, кинулся бежать прочь. Бежал он не быстро, спотыкаясь на паханине огорода, вниз, к садам. Холюша заспешил вслед. Человек свернул правее, туда, где на берегу речки густо росли талы.

- Куды тебя черти несут! Там нехоженое!

Холюша остановился. Человек, миновав полосу белого снега, пропал в черной стене талов. И у Холюши от души отлегло. Как-то сразу спокойно стало, и страх прошел. "Пьяный? Вроде не чутко...- думал он. - А бельмечет по-пьяному".

Поглядев еще раз в ту сторону, где пропал незваный гость, Холюша повернул к своему двору. Миновал сенник, возле костра жердей остановился. Негромко, с подвывом, подал голос Цыган, беспокоясь о хозяине.

- Здеся я, здесь, - отозвался Холюша.

Тихо было. Белый снег лежал. А над землей - широкий, мощенный звездами грейдер тянулся незнамо куда. И кто-то невидимый скакал и скакал по нему, высекая все новые и новые огни звонкими подковами о звездный кремень. И клубы и вихри серебряной пыли вздымались и катились, оседая, по темному небу и до самой земли.

Снова, беспокойно, подал голос Цыган.

- Иду...- сказал Холюша и успел лишь чуть повернуть голову, не услышав, а почуяв какое-то движение рядом.

Но было поздно. От удара он не ушел. Лишь успел закричать пронзительно и страшно, как умеет кричать перед смертью живая душа.

И тут же еще один вопль прорезал тишину. Это Цыган, услышав крик хозяина, рванулся изо всех сил, оборвал звенку цепи и, махнув через плетень, со звериным воем кинулся на помощь. Их услыхали.

Соседа Мишку растолкала жена. И он, сунув ноги в валенки, с ружьем выскочил на крыльцо. Для острастки лупанул с обоих стволов в небо. Потом накинул телогрейку, перезарядил ружье и побежал. Жена бросилась к соседям.

Мишка подбежал к Холюшиному дому. В окне горел свет. Но двери и воротца на баз были заперты.

- Халамей! - закричал Мишка. - Ты живой там?!

Но лишь малый козленок жалобно блеял в чулане и дробно стучал копытцами. Да на базу волновались, гогоча, гуси.

Можно было перемахнуть через забор, но мешало ружье, а без него Мишка лезть боялся: мало ли кто там сидит. Наконец подоспели люди, отворили воротца на баз.

Дверь на черном крыльце, ведущем во двор, была растворена; и та, что из чулана на кухню вела, - тоже настежь. А на кухне, в Холюшином жилье, все было вверх дном перевернуто: валялись железные короба, какое-то тряпье с кровати, опрокинуты стулья, распахнуты в, горницу двери, и там тоже горел свет. И малый черный козленок мыкался на нетвердых ногах и блеял жалобно.

Холюшу нашли на забазье. Рядом с ним чернел на снегу кобель Цыган. Хозяин был жив. Его лишь оглушили. А когда в дом внесли и побрызгали водой, он пришел в себя. Опамятовался, сел на кровати, диким взглядом обвел родные стены, людей и тот погром, что царил вокруг, потом сполз с кровати и, постанывая, держась за голову, пошел.

- Нельзя тебе! Лежи! - пробовали остановить его люди.

Но он прошел в открытые двери горницы, огляделся: замки на сундуках были целы. Потушив свет, Холюша вернулся на кухню, и беспокойный взгляд его стал бегать из угла в угол.

- Гармошка... Гармошка где?.. - тихо проговорил он. - Вот здеся была.

Гармошки, которая обычно хранилась в красном углу, на лавке, в деревянном коробе, сверху клеенкой прикрытая, знаменитой Холюшиной гармошки не было. И Холюша, вновь потеряв сознание, грохнулся об пол.

Видно, не зря про гармошку говорили и зарились на нее не зря.

Холюшу снова уложили на кровать, водой попрыскали, виски натерли, и он оживел.

Люди помаленьку разошлись. При Холюше остался Мишка-сосед с другом Николаем. Они пригрубок топили, играли в карты, попивая Холюшину самогонку.

А люди пошли по домам и долго еще не спали, прикидывая, сколько денег держал Холюша в мехах гармошки, и ругая его за глупость.

К утру Холюша поднялся. Он долго примеривался, прежде чем с кровати слезть, но все же встал. Из-за печи вытащил давешний, еще материн, но добрый батожок. И зачикилял на двух деревянных и одной живой, нетвердой ноге.

Во дворе было тихо. Не загремел цепью, не встретил его Цыган.

- Где ты! - позвал кобеля Холюша и попенял: - Хозяин на мертвой скамье лежит, а ты зорюешь.

Лишь гуси отозвались гоготом да просяще мыкнул бычок. Встревоженный Холюша поспешил к будке. Цепь была оборвана. А глянул за плетень, и словно наждаковый стылый ветер просек его до сердца.

Тело Цыгана закоченело. И Холюша оттянул его с видного места, соломой прикрыл. А сам вернулся в хату, снова лег и лежал до той поры, пока не засветлело окно.

На полу, возле кровати, давно и жалко причитал козленок. Пора его было кормить. Да и вся скотина уже заждалась. Ведь она не ведала про Холюшино горе. Глупая была.

К полудню приехал Егор, с тем же человеком и на той же машине.

- Живой, что ли? - здороваясь, спросил он.

- Отвел господь смертушку, - со слезой пожаловался Холюша. - Чуток... и лежали бы на забазье две дохлины. Спасибо, добрые люди...

Милиция Холюшу расспрашивала, он отвечал и плакал не переставая.

- Цыгана порешили... Теперя таких кобелей и в завете нет... С ним я горя не знал. Видать, не дюже вы их на кукан сажаете. В старое время, бывало, поймают, отведут на плесо да головой в студенку. Другие не позарятся. А ныне чего... Пластают добрых людей, толочут их до смерти...

- А про гармошку-то я тебя предупреждал, - сказал Егор, - ты не послушал.

- Чего ты меня упрекаешь? Я - старый человек...

- Та-ак... а в гармошке чего было? Чего ты там хоронил?

Холюша молча переводил глаза с одного милиционера на другого.

- Так что было-то? Деньги были?

Стуча деревяшкой, Холюша кинулся в красный угол.

- Вот тута она лежала... Чтоб им заглонуться.- Он откинул в сторону ненужную теперь клеенку, в короб пустой поглядел и сел рядом.

- Так были там деньги?

Помешкав несколько, Холюша ответил:

- Были.

- Сколько?

- Откель я знаю...

- А кто же знать будет? Не мы же туда складывали.

Холюша засморкался.

- Я старый человек... Замрачается ум... Да такой страх принял, выпужался до смерти... Рази я упомню, ребяты... Да по голове дюбнули... Прям как паралик вдарил...

- Ну, хоть много было денег?

- Много... много...- закивал головой Холюша.

- Ладно, - сказал Егор.- Не горюй.- И шепнул товарищу: - Не будем пока... Я потом сам все узнаю.

Они снова по огороду лазили, по низам, за речкой, потом уехали на машине. А вернулся Егор один, когда Холюша через силу на базу ковылял.

Егор старика от дела отставил, сам скотиной занялся, а ему приказал в хату идти и лежать. Но Холюша остался стоять посреди двора, глядел за Егором, подсказывал. Потом они вместе в дом пошли.

- Могешь хозяиновать,- похвалил Холюша.- Забрал бы свою семью, да Фетинья с дочерью нехай едет. Все бы сгалталися да ко мне, на хутор. Дома у меня большие. Жили б да поживали. Тебе бы здесь работа нашлась, участковым. Наш-то Парыгин совсем старый. Неплохо б зажили.

Егор засмеялся.

- А я ведь всурьез,- обиделся Холюша.

- Всерьез? - удивился Егор. - Чего это ты голову себе забиваешь?

- Это почему так?

- А потому... Я - не вольный казак. Служба. Сюда меня не пошлют, и слава богу. Делать здесь нечего, разве что самогон пить. У меня семья, о ней надо думать. У вас на хуторе ни школы, ни больницы. Чего случись, фельдшера и того нет. Так что не забивай себе голову, по-умному рассуди.

- Оно и ты не дюже по-умному раскладаешь,- не согласился Холюша. - Мы век тута прожили. И неглупые люди с нашего гнезда вылетали. Марюши Карагичевой сын, большой военный, чуток не генерал. На машине ездит. А из наших, из репанцев... Достиг. А ежли болезня какая... Меня мать всему обучила, лучше докторов. И скотину могу, и людей. У кого хоть спроси. Малым детям вот от поносу гусынка хорошо помогает, от желудка еще крушина... Колютка белая тоже...

Холюша многое мог бы рассказать, но, поймав безразличный Егоров взгляд, понял, что попусту он льет. Не приедут. И Егор не приедет, и сестра Фетинья, как бы худо ей ни жилось. Они уже обвыклись с другой жизнью, и назад им ходу нет.

А позднее, ночью, когда Егор уехал, Холюша лежал и думал. Уже поздно было, а он - небывалое дело - заснуть не мог. Может, потому, что целый день почти ничего не делал, и праздное тело не просило отдыха.

Он лежал и думал, и как ни раскладывал, а лишь одно выходило: надо Егора слушать и уезжать. Старость подступала, и нечем от нее было заслониться. Приди сейчас лихой человек и бери голыми руками. Цыгана порешили, и некому теперь Холюшу оборонить. Может, сейчас, когда он лежит колодой, уже хозяйничают на базу чужие люди, под гребло все гребут. При мысли о ночных гостях Холюше сделалось страшно. Он прислушался и вроде услышал какие-то звуки на воле, то ли чьи-то шаги, то ли скрип отворяемых ворот. И Холюша сжался под одеялом, дыхание притаил. А минуту спустя, когда отпустил его этот внезапно подступивший ужас, Холюша ясно понял, что надо ему уезжать. Уезжать. И господа бога благодарить за то, что он Егора подослал. Великое ему спасибо, что смилостивился и хочет старость его упокоить. И господу спасибо, и Егору.

Низкая красноватая звезда глядела в мутное, не затворенное ставней оконце. Пригрубок не затухал. Временами, прогорая, там рушился уголь, и багровый отсвет пробивался из поддувала. Мыши ходором ходили, с писком и возней.

Холюша поднимался, задергивал шторку. Но вновь, уже над занавеской, и снова в упор, светила ему низкая звезда. И не было сна. И гнездилось в голове сто раз думанное.

И чтобы не лежать без толку, не маяться, Холюша решил делом заняться. Пошел он с фонарем в сарай, нагреб полный мешок кукурузных початков, а в доме, возле пригрубка, корыто поставил и начал лущить в него ядреное кукурузное зерно. На новое место кукурузу с початками не с руки возить, а чистое зернецо меньше места займет.

На шум и свет козленок глаза продрал. Проснулся, поднялся и начал возле хозяина тереться, мекекать да вымя искать.

- Чего встал, прокуда? - спросил его Холюша.- Спал бы да спал. Ложися.

Но козленок под руки стал лезть, мешаться.

- Какого тебе беса? Ну, на, - сунул он козленку палец. Козленок носом ткнулся, фыркнул. - Не нравится? Середь ночи тебе козу весть? Да? Гляди, счас... Скоро вот уйдешь на чужой баз, там тебя живо... Это не у меня, в тепле да сытости. А новые хозяева тебя враз на соломку посадят. Вот тогда запоешь матушку-репку. Как? - спросил он козленка, наклоняясь к нему. Тот внимательно глядел на хозяина. - Не веришь? А вот поглядишь. Скоро, брат, скоро ликвидироваю вас всех. А сам на спокойную жизню уйду. Да... Чего глядишь? Не хочешь к другому хозяину итить? Э-э-э, ты, гляжу, не глупова десятку. Смысленый...

Сыпалось и сыпалось из-под пальцев сухое зерно. Терся возле ноги и глядел на хозяина козленок. А Холюша говорил и говорил:

- Куды деваться? За пазухой вас держать не будешь. Вам же сенца надо, травочки по лету. Весна найдет, снег потает, ты и пошел пасться. Вот это жизня. А тама город. Негде вас пасть, негде. И на зиму сенца не добудешь. Одно слово - город. Я сам на ту весну на базар зерно возил, пять чувалов. Радовался, хорошие какие цены. До сорока копеек за кило. Во как... А ныне слезьми плакать приходится. Как с такими ценами птицу держать? Золотая получается яичка. А ути, прожористые черти, с хозяина и вовсе штаны сымут. Вот тут и гляди... Хошь не хошь, а придется вас в чужие руки отдавать. Не реви... Не тебя одного, всех... Всех попродам... Останусь яко наг, яко благ. Цельный день буду сидеть на лавочке, как мытая репа, да семечки грызть. Во как! засмеялся Холюша. - Во какая жизня пойдет! Не хотел? А чего, куплю, как Петро Васильич, эту... фуражку, натяну на калган. В руки тростку магазинную. И пошел, - Холюша вновь рассмеялся, представив себя в белой полувоенной фуражке и с красивым фабричным батожком.

Был такой мужик на хуторе. Феклуня на базар ездила и привезла жениха с фуражкой и красивым костыликом. Он голубей водил, фуражку свою мелом чистил да втихую за молодыми девками прихрамывал. Но величали его Петром Васильевичем, не иначе.

- Вот так...- продолжал объяснять Холюша.- В карты зачну играть. А как же... В лото. Одно слово - пенсионер. Хватит, наработался, слава тебе господи... Руки уж не владают. С младости трудюся. Бывало, ребята в алданчика играют да в генерала, а я все трудюся. Да-а... Вот как ты был, несмысленый, а уж телят пас, гусей... Вот тебя бы счас взять запрячь и воду, например, возить... А-а-а, не нравится? То-то... А я вот с той поры рук не покладаю.

Текло из-под рук легкое зерно, козленок, завороженный его шелестом и мерной Холюшиной речью, прижался теплым боком к ноге и, подремывая, слушал.

- Сеструшка со мной будет, Фетинья, и дочеря ее. Та молодая... Доглядать будет за нами. Егор рядом, он все же при власти, милиционер. Не всякий на нас посыкнется. А я, може, кролов зачну водить. Говорят, плодущие...

Так и шла у них беседа. Потом Холюшу ко сну начало клонить, и он свою работу оставил, поднялся. Встревоженный козленок тут же запричитал, начал мыкаться по кухне, ко всему цеплялся, припадая на передние коленки, вымя искал. И Холюша пожалел его.

- Матерю захотел? Ну, ладно, счас приведу. Уж напоследок... Чтоб подоле меня поминал. Такого-то хозяина тебе сроду не видать.

Холюша сходил на баз, привел Белобокую.

Козленок кинулся к матери, с ходу сосок уцепил и чуть было не захлебнулся густым сладким молоком. Коротко перхнув, он приладился к струе, зажмурился от удовольствия, и мало ему показалось молока, мало. И он поддавать начал в нахолодавшее вымя.

Он поддавал и пританцовывал, и короткий заячий хвост его ходором ходил от нетерпения.

А Холюша с легкой улыбкой глядел на козленка. Он всегда жалел маленьких. И вдруг пришло в душу какое-то неясное волнение. "А ведь когда-то и я вот так... у матери... Не знал ничего, не ведал... Дудонь да дудонь..." Но эта странная мысль сразу оставила его. Может быть, потому, что Холюша не мог себя представить младенцем. Ему казалось, что он всегда был вот таким: в треухе и телогрейке, с деревянной ногой. Хотя нет... Холюша помнил себя. Да, помнил малым пацаном.

Вот они картошку с матерью окучивают. Мать тянет плужок, а пацан за чапигами. И норовит вырваться, вывернуться плужок. Мать неровно тянет, рывками. Руки немеют, дрожат...

А вот он вместе с отцом, и косенка у него своя. И перепелка, в первый раз так близко увиденная перепелка с выводком... Вот она уходит от него по прокосу. И Холюшка спешит за ней. А птица неловко, боком, раскрылатившись, с жалким клекотом, подпрыгивая, уходит. Как ясно все видится! Голенастые перепелята, красноватая курочка, неловко скачущая по валам травы... И отец смеется...

А дальше... Что же дальше?! Почему там нет ничего. Ах, есть, есть... Вон мужик в защитной, не обмятой еще гимнастерке... Вон он мелькнул: раз - и все... Где это было? Мелькнул и ушел... А потом?.. Ничего больше. Только серая телогрейка да вечный треух. Да нога деревянная... И ничего больше нету. Только мать, старуха с худыми черными ногами, в подоткнутой юбке... Бредет и бредет по мелкому плесу с хворостиной в руках... Птицу гоняет... А еще? Снова треух и телогрейка... А еще?.. Снова мать бредет... А еще? И нога деревянная...

И вся жизнь. Вот она, на один огляд, скупо отмеренная богом. А может, и хватит?..

- Эй ты, может, хватит? - окликнул Холюша козленка.- Или ты на всю жизню уцепился? Так-то можно...

Словно усовестясь, козленок отвалился от вымени, и не было даже сил благодарно мекнуть. Нетвердо ступая, он подошел к пригрубку и улегся, аккуратно уложив длинные ломкие ноги. Прижался к теплому печному боку и тут же задремал. И уже во сне он снова сосал, почмокивая, и иногда тельце его вздрагивало...

Холюша улыбнулся, позавидовал: "Ну и жизня у тебя, парень..." - и, ухватив Белобокую за крутой рог, потянул ее на баз.

После этой ночи переезд стал делом решенным, и пришло время иных забот. Первым делом купили дом, который Холюша обсматривать ездил. Прежний хозяин согласен был на рассрочку. Но Холюша, удивив Егора, все разом заплатил, и Егорова жена тут же укатила за Фетиньей и матерью.

Своим чередом шла продажа. Телку забрали хорошие хозяева в Евлампиевку. Трех баранчиков прирезали, на базар свезли. Бычка сдали в кооперацию. Хорошо бычок вытянул, считай, зимник был. Гадали об овечках: то ли всех сбывать, а может, себе оставить, чтоб доточили сенцо, а уж потом - на мясо. О козах голова не болела: с этих в самый конец пух чесать, а потом в день разберут, только шумни. Птицу изживать тоже трудов не стоило: секи им головы, щипи да морозь, а там - потихоньку на базаре разойдется. Заботила лишь корова: в худые руки Холюша отдавать ее не хотел, но не враз и охотники на нее находились, все ж в годах была. Но Холюша знал, что купят, не нынче, так завтра. Заводу Зорька всей округе известного, а годы что... Зубы еще не сточились, не один и не два года проходит и молока будет давать побольше иных молоденьких. Так что нужно было лишь подождать, пока слух о продаже по хуторам разойдется.

Вот и ждали. А между делом понемногу вывозили к новому месту кое-какое добро: из горницы кровать, стол со стульями, телевизор. Все это Егор делал.

Катился февраль, подходила весна, дело шло к окончательному переезду.

5

В конце недели, в пятницу, подъехала к Холюшиному двору машина. Сидели в ней Егор да жданный покупатель, новый агроном. Холюшину Зорьку он глядел и решил брать ее. Увидев вылезающего из машины Егора, Холюша прямо с крыльца закричал:

- Егор, Егор! Счастья нам какая привалила! Какая счастья! Ты поди, погляди!

Егор ничего не понял.

- Какое еще счастье? - поморщился он. - Вот покупатель приехал,- показал он на агронома. - Бабка Фетинья с Марией поселились и тебя ждут... - начал он и умолк, и стал глядеть на деда.

Холюша был явно не в себе: шапка у него на сторону сбилась, глаза шалые сделались. И он не слушал Егора, нет, он свое толочил:

- Счастью! Такую счастью бог послал... - твердил он. - Вчерась-ка в ночь, такая счастья... Пойдем в дом, поглядишь,- хватал он Егора за рукав, за полу шинели и тащил за собой.

- Какое еще счастье? - недоуменно переглянулись Егор с агрономом.

А Холюша уже в дом спешил, постукивая деревяшкой.

- Пойдем, поглядишь, пойдем,- радостно бубнил он. - Привалила счастья...

Егор, агроном и даже шофер, заинтересованные, пошли за Холюшей.

В кухне горел яркий свет. В углу, возле дверей горницы, на соломе стоял врастопырку и глядел на вошедших теленок, Холюша кинулся к нему.

- Вот она, счастья! Вот она какая счастья! Гляди, Звезда народилася! Звезда!

Егор рассмеялся, за ним агроном, шофер их поддержал, проговорил: "Ну и дед..."

- Отелилась, что ли, Зорька? - спросил Егор. - Ну и слава богу.

- Отелилась... - недоуменно повторил Холюша и руками всплеснул. Его зло начало разбирать. - Да ты хоть глазами-то видишь, кого она принесла? - в сердцах проговорил он и выкрикнул: - Звезду принесла!

- Ну, Звезда,- тоже начал злиться Егор. - Ну, телок... Не пойму, чего ты прыгаешь. А кого она должна была принести? Козу, что ли? Снесла курочка яичко, не простое, а золотое...

- И-и-и,- укоризненно протянул Холюша.- Доумился... Козу... - но потом вдруг понял, что эти люди - Егор, новый агроном и шофер,- они ведь не знают ничего и потому лишь глазами на него лупают. Он вдруг понял все это и просиял. - Да вы же несмысленые! - счастливо рассмеялся он. - А я перед вами... мечу. Вы же и близочко ничего не знаете. Садитесь, Христа ради, садитеся... Счас перескажу... - Он повернулся к теленку, ласково тронул его. Тот мыкнул и, взбрыкнув задними ногами, подпрыгнул на месте. - Вот ты правильно сказал, Егор, золотая эта яичка, золотая телочка, - наставительно произнес Холюша. Таких телочек и в свете нет, - говорил он торжественно и серьезно. И слушали его всерьез, насторожась. - Не вложу в память, говорил я тебе, наверно, говорил, да у тебя скрозь пальцы протекло. Наша Зорька кровя свои ведет от Звезды,- поднял Холюша руку и пальцем в потолок указал. - А та Звезда была даве еще, даве, это еще в войну, в Назмище. У Митрони Бочкарева. Откудова та Звезда взялась, не знаю. Бог дал. Та Звезда была молоком налитая. По цебарке за раз давала. И доилася чуть не весь год. До самых, до самых... Заливала Митроню молоком. Во как! - победно оглядел всех Холюша. - У нас по хуторам всякие коровы случались. А Митронина Звезда - из всех знаменитая. Сколько лет-годов прошло. Давно уж косточки погнили. А помнят Звезду, все помнят добрые хозяева, какие живы. От той Звезды по хуторам племя пошло. Неплохие коровки. Как наша Зорька. Но вот в Звезду ни одна не удалася. Сколь люди ждали, а вот нет такой, да и все. Не дал бог. Ни у Бочкаревых, ни у других хозяев. - Холюша замолк, а потом сказал шепотом: - А меня господь наградил... За труды мои... - всхлипнул он. - Послал... Глядитя... - и указал рукой на телочку. - Масть чистая, светлая... Лобик белый,- тронул он рукой белую пежину. - Чулочки белые,- нагнувшись, указал он. - Хвост до самой репицы белый! - закончил он торжествующе. - Все чисточко при ней, без подмесу!

Слушатели, ошеломленные не столько Холюшиными доводами, сколько тоном, молчали. Первым Егор опамятовался, спросил:

- Погоди... так что, одна она, что ль, такая, со звездой, с чулочками, с хвостом?

- Взошло наконец,- язвительно ответил Холюша.- О чем цельный час талдычу. Вот была Звезда Митронина, а ни от нее, ни посля чисто никто в нее не удавался. А Зорюшка наша постаралася напоследок, хозяина отблагодарила... Снова расчувствовался он и даже заслезился. - Отплатила мне за все мои заботы. За то, что кормил ее и поил. О себе так не заботился, как об ней.

- Понятно,- сказал Егор. - Теперь все понятно.- И к агроному повернулся: Чувствуешь, чего тебе отдаем? Особый с тебя магарыч.

- Не заржавеет,- смеясь, ответил тот и шагнул к теленку.

- Не отдам! - накрест растопырив руки, встал перед ним Холюша. - Не подходи!

- Ты чего, дед! - удивился Егор. - Он же ее покупает.

- Меня, меня бог наградил! - выкрикнул Холюша.- Рази я ее в чужие люди отдам?! Сколь я ее у бога выпрашивал! И послухал меня господь, на мои слова сжалился. Да неужели я такую золоту в чужие руки отдам?! Да я голодать буду, телешом ходить, а ее взращу! По травиночке, по былиночке буду сбирать, а она сытой будет! А она потом такого молочка нам даст, сладимого из сладимых! Она всех нас прокормит, золотанюшка... Зальет, зальет нас молоком! Не зря старые люди и счас поминают Звездочку! Золотанюшка... - повторил Холюша н повернулся к дорогой своей телочке и глядел на нее глазами, полными слез.

Агроном, с ноги на ногу переступив, откашлялся и пошел из кухни. Следом за ним шофер. А уж за ними Егор выбежал.

- Подожди... Вы куда?

- Да куда... - ответил агроном, разминая и закуривая сигарету. - Куда же... От ворот поворот.

- Брось ты... - сказал Егор. - Это он так, с ума сходит. Сейчас я поговорю.

- Подожди,- остановил его агроном,- покури. На, закуривай. И не суетись. Не продаст он сейчас корову. Не знаю уж, золотая она или серебряная... Но ты же слышал?

- А куда ж он ее денет? В карман, что ль, возьмет? Нам же переезжать... Сейчас я его... - и он снова было шагнул к крыльцу.

И снова его остановил агроном:

- Не сепети... Сейчас не трогай. Скажи, продаст? - спросил он у шофера.

Тот отрицательно головой покачал и сказал:

- Не похоже... Ему втемяшилось. А вообще-то,- добавил он,- про эту Звезду, про назмищенскую, я тоже слыхал. Не упомню, вроде от матери. Но что точно, то точно, была такая корова. Старые люди знают.

- Вот так,- поглядел на Егора агроном.

- Да ерунда все это,- не сдавался Егор. - Какая бы она ни была, дом-то куплен. Деньги он заплатил - десять таких коров можно купить. Стадо целое! Поняли? Дурит дед. С ума сходит. Никуда не денется. Переезжать все равно надо.

- Ладно,- сказал агроном. - Вы тут меж собой разберитесь. Корову я, конечно, взял бы. Тем более...- засмеялся он,- дыма без огня не бывает. Конечно, когда она еще вырастет и чего... Но интересно. Ладно, мы поехали, а ты с ним толкуй.

Егор долго стоял, провожая взглядом машину, курил и вроде успокоился, а уж потом в дом вернулся.

- Ладно с коровой-то... - со вздохом сказал Егор, усаживаясь. - Ты чего и себе и людям головы морочишь. Приехал человек, покупать. Дома тебя сестра ждет, племянница... А ты? Для чего все это затеваешь? Или собираешься корову на новое место переводить? Так я же тебе...

- Не, не, не... - всполошился Холюша. - Ее нельзя с хутора трогать. Она должна добрым молочком выпаиваться. На хорошей травке рость, на нашей воде, на всем невладанном. - Холюша к телочке подошел, тронул ее рукой, и голос его потеплел. - Не ныне завтра снег сойдет, погоним скотину. Сначала старюку погложут, она тоже едовая. А там и зеленка пойдет. Вот и будет наша Звездочка рость, людям на завидки. Да в такую коровку подымется. Я в коровах понимаю, я их видал-перевидал. А таких вот, не даст господь сбрехать, таких и в завете нет,- горячо говорил Холюша. И он честно говорил. Верил он, верил, нутром, сердцем чуял, что в последний разок не обманула хозяина Зорька и принесла такую расхорошую телочку, каких не было и не будет. В добрую память о себе, за все добро, за всю ласку, за всю свою счастливую жизнь, что провела на этом базу, у дорогого своего хозяина. - Выкормим ее, выпоим, а она такого молочка даст, сладимого да жирнючего, чистый каймак. Твои ребяты его пить будут не напьются. На дрожжах будут с него расти. Всех она нас прокормит, всех... И сеструшку, и меня. Нам, старым, молоко за первую еду...

Толковать было не о чем. Ругать Холюшу Егор не стал, жалея его. Он лишь развел руками и сказал:

- Не пойму я тебя. Вот убей, не пойму. ..

- Ты свою жизню к моей не прикладывай,- ответил Холюша. - У нас так-то вот... Надысь Митревну встретил, она чуток посверстнее меня. Чикиляет, жалится, плачет: "Мои-то уехали... Кинули меня без Христовой памяти... Я ту лету надорвалася с огородом, сажала. Снова весна заходит. Руки не подымаются, ноги не носют, а надо сажать, надо... Не посади огород да картошку - люди осудят..." А я ей: и осудят, говорю, осудят. Терпи, Митревна, такая наша жизня. Понял? А мне чего? Я еще в силах. Да такую телочку мне господь послал, золотанюшку мою...

А Егор глядел на Холюшу и не знал, плакать ли, смеяться...

- Ладно, дед,- решил он. - Ты сам себе хозяин. Давай выпьем за твою золотую телушку, за новый дом, за все...

- Вот это правильно,- одобрил Холюша,- а мне заметило.

Собрали наскоро стол, разлили по стаканам.

- Твое здоровье,- сказал Егор. - Пусть растет твоя телушка. Дай бог, молочка от нее попить. И тебе, и всем нам.

- Это правильно! - поддержал Холюша. - Это по-нашему...

Белолобая телочка при этих словах взбрыкнула, коротко мыкнув. Здоровая была телочка, веселая. Белоухая коза своих козлят накормила. Они улеглись подле нее и прикрыли глаза, задремывая. Мать то одного, то другого вылизывала и, чуя вкус родной плоти, сладостно, нутром взмекивала.

6

Молока от дорогой своей Звездочки Холюша не отпробовал. Он умер в ту же весну, в начале апреля. Вышел на черное крыльцо с цебаркой, пошатнулся и рухнул вниз, ткнувшись в землю почернелым лицом. Видно, кинулась в лицо темная жиловая кровь. Пустая цебарка со звоном катилась до самых ворот...

Схоронили Холюшу, и в одночасье опустели базы, и у дома крест-накрест забили досками окна.

На хуторе о Холюше иногда вспоминали. Чаще по-худому. Реже по-доброму. Но что слова человечьи...

А еще месяц спустя, в середине мая, совхозный электрик Митька ехал в пароконной бричке за песком. Клавдия собиралась, как всегда по весне, мазикать.

Время было полуденное, Митька успел не только опохмелиться, но и неплохо выпить. А впереди снова маячила выпивка. Так что жить было можно. Митька курил, лениво по сторонам поглядывал, лошадей не гнал.

В просторном небе гулял один лишь хозяин - солнце. И только на западе, на краю неба, сторожили синий простор высокие башни облаков. И в той стороне, где они недвижимо высились, даль туманилась, будто зрела там непогода.

На земле было зелено. По целине вершковый молочай раскустился, закрывая летошнюю старюку. Прожив свою недолгую зеленую пору, засеребрились, склоняясь под ветром, чубатые ковыли. Вдали тянулись темные поля озимки и светлая зелень яровых. С дороги и обочин вспархивали жаворонки, с треском поднимались куропатиные пары. Цапля пролетела, помахивая черными крылами. А справа, в логу, в тополевой гущине, было и вовсе весело. Кукушка кому-то намаливала годы. То выпевала ласково, то гневно крэкала иволга. Пестрокрылый удод принимался токовать, да все сбивался с голоса. Лишь местами угрюмый лох чернел голыми ветвями, топырил колючки, остерегая себя от ранних соблазнов весны и солнца; и там тихо было, пусто. А далеко в небе плавал шульпек-коршун. Он ходил и ходил кругами, то ли добычи не мог найти, то ли славно ему было парить в тугих воздушных струях.

Митька свернул на летнюю дорогу. Она вся просеклась травой; и высокие куличи муравьиных гнезд на колее говорили, что топчут ее первые копыта. Путь был недолгий, к кургану, что стоял над логом. На склоне его брали песок.

Подъехав к копанкам, Митька остановил лошадей и пошел глядеть, из какой ямы или пещерки легче песок взять. В одной из глубоких пещерок что-то чернело. Митька ближе подошел, любопытствуя. В чистой песчаной пещерке лежала гармошка, целая. И в единый миг Митька понял, что это ничья более, а Холюшина гармошка. Он понял и обмер. Но тут же совладал с собой, воровски огляделся и кинулся в пещерку. На колени пал, прополз, достал гармошку руками. Голова кругом пошла. Все так же, стоя на карачках, Митька подтянул к себе гармошку, увидел проем оторванной боковины и сунул туда руку. Рука погрузилась в бумажки. И рукой, плотью, Митька ощутил их гладкость и слухом их шелест. Он выдернул из недр гармошки пук бумаг и охнул. То были не деньги, а просто бумаги, какие-то квитанции. Еще не веря в неудачу, Митька потянул гармошку прочь из холода пещерки. Он озяб и полз к свету, к солнцу. И здесь, на просторе, вытряхнул из гармошки все, что было в ней. Вытряхнул, покопался в этой груде бумаг, выматерился и полез за куревом. Он курил, а глазом косил на гору белых, синих, красных - разноцветных бумаг. Курил, успокаивался и наконец ухмыльнулся, проговорил вслух:

- Разбогатеешь с вами, в бога мать...

Докурив первую, Митька вторую сигарету достал и теперь, почти спокойно покуривая, взял из кучи несколько бумажек, начал глядеть их.

"Обязательство на поставку государству мяса и яиц... Вихлянцев Варфоломей... Обязательство на поставку государству молока... Вихлянцев..." Бумажки были всякие: малые и большие, желтые, розовые... Лощеной, гладенькой и простой, затерханной бумаги. "Народный комиссариат... Министерство финансов... Государственный банк... Мяса (в живом весе)... на основании постановления... Вы обязаны... квитанция No 255. Яйцо шт. 432... Масло топленое 1650... Квитанция No 328857 принято от Вихлянцева... в фонд обороны страны на сумму руб. две тысячи пятьсот... 16 августа 1943 года... Приемно-расчстная квитанция. Масло сливочное 2,5 кг..." Годы и годы... 1937... 1950... 1941... 1939... 1952... "Живсырья и пушнины... Козлиные... количество 3... Извещение No 2915/72 на уплату... и сдачу государству в порядке обязательных поставок мяса, молока, яиц, шерсти и картофеля... Центросоюз... Шерсть 12 кг... Зачетный вес мяса 60 кг... Масло топленое 2100..."

Проглядев десяток бумажек, Митька бросил это занятие. Дело было известное. Клавдия тоже такие квитки хранила. Правда, не столько их было. Не такая пропасть.

Митька закурил и вспомнил о той сотне, что занимал у Холюши и не успел отдать. И теперь уже не отдаст. Холюше деньги не нужны. А другие не знают, да и узнают - Клавдия им шиш покажет, этим наследничкам.

Посидел Митька, подумал и решил сжечь всю эту канцелярию. Сначала вспомнил о милиции, которая ищет гармошку с деньгами. Подумав о милиции, Митька тут же решил: "Хрен вам". С милицией у него были свои счеты. К тому же заяви, а потом затягают: скажут, деньги упер.

Снова вывалив Холюшино богатство, Митька поджег его. Горело оно недолго, высоко и жарко. И обратилось в пепел. Гармошку Митька закопал, нагрузил подводу песком и двинулся в обратный путь. Дорога была хорошая, кони тянули ровно, а у Митьки из головы Холюша не выходил. Думалось о нем и думалось.

В хуторе, сгрузив у дома песок, Митька лошадей отогнал, пошел к себе в мастерскую, отмотал десяток метров комнатного провода и тут же продал его, за пятерку. Но в магазине не бутылку взял, а лишь маленькую и, сунув ее в карман, отправился на Холюшино подворье.

Он зашел во двор. Крыльцо черного хода зеленело. Из подернутых землей щелей его и трещин дружно поднялись добрые хлебные всходы. Митька сел на ступеньку, из чекушки хлебнул, закурил.

Ясное солнце глядело на просторный двор, покрытый зеленым рядном гусынки. На коровьем и козьих базах, пока еще редко, несмело, поднималась конопля. Крытые чаканом крыши лежали ровно. Прочно стояли дубовые столбы, и стены сараев, плетни базов не хилились. Все двери, калитки, воротца были затворены, окошки целы. Но тихо было. Не вскудахчется птица, скотина голосу не подаст. Так тихо было на базах. И теперь навсегда. Лишь тихомолом будет расти бурьян. Да будет вечно лежать вот этот камень у крыльца. Ему ни умереть, ни воскреснуть не дано. А за плетнем, в низах, в огородах все было живо и зелено, как и должно быть на тучной, сытой навозом земле. Только не ряды картошки поднимались там, не ровные гряды лука, не помидорная ботва, не огуречная огудина, не белый и розовый цвет гороха, не капустный лист, а пустая трава. И там, где летось лежали мостом помидоры и огурцы, где пучилась земля от ядреной, в кулак, картошки, и впокат тыквы желтели, там доспеет по осени лишь черный бурьян, и в землю упадут злые семена, чтобы еще яростней подняться в новом году.

Митька глотнул еще из чекушки, за ласточками стал глядеть. Много их населилось на Холюшиных базах. Так и стригли, так и носились касатушки. Вот одна уселась на ветхий шнур рядом с Митькой. Уселась и принялась щебетать. Она щебетала в голос и щебетала. Звала ли друга или просто радостно ей было глядеть на синюю волю. Она щебетала, что-то выговаривала, а Митька слушал ее, пошевелиться боясь.